84(2=411.2)6
448

Павел Черкашин

РОДИНА МОЕГО ДЕТСТВА

16+

Листок срока возврата книг

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
указанного здесь срока

30/10	

84(2Рос-Рус)6
Ч-48

16+

ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

МБУ «Централизованная библиотечная система»
Инв № 79273/1-Н
079273001
Мегион ЦБ-КО

РОДИНА МОЕГО ДЕТСТВА

Книга сыну

В Центральной библиотеке г. Мегиона с уважением от автора.

Ханты-Мансийск
Издательство Югрaфика
2014

06.10.2014г.

УДК 821.161.1
ББК 84(2=411.2)6

Ч 48 Черкашин Павел Рудольфович
Родина моего детства : книга сыну / П. Р. Черкашин ; авт. предисл. Н. Н. Горбачёва. — Ханты-Мансийск : Изд-во Юграфика. — 256 с., ил.

В новую книгу писателя из Ханты-Мансийска Павла Черкашина вошли произведения, посвящённые малой родине, написанные автором в 1989 — 2001 гг.

Художник А. Е. Шестакова

Книга издана по решению экспертного совета Департамента общественных связей ХМАО – Югры

ISBN 978-5-905751-46-2

© Черкашин П.Р., 2014.
© Шестакова А. Е., 2014.
© Изд-во Юграфика, 2014.

ОБ АВТОРЕ

Родился 28 сентября 1972 года в селе Мужи Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. В 1987 году окончил на родине восемь классов средней общеобразовательной школы. В неполные пятнадцать лет уехал из родительского дома в областной центр, где поступил и в 1991 году успешно окончил отделение учителей начальных классов и воспитателей группы продлённого дня в Тюменском педагогическом училище № 1.

Высшее образование получил (с 1991 по 1996 год) в Тюменском государственном университете на филологическом факультете. Защитил дипломную работу по теме: «Трилогия Ивана Сергеевича Шмелёва «Богомолье», «Лето Господне», «Солнце мёртвых» в контексте критико-научных и текстологических проблем».

В разные годы, поначалу одновременно с получением высшего образования, П. Р. Черкашин работал корректором, корреспондентом, фотографом, ответственным секретарём газет городского, окружного и областного уровня, учителем начальных классов, сторожем, телеоператором, радиоведущим, преподавателем в системе высшего образования.

С весны 1999 года живёт и работает в Ханты-Мансийске. В настоящее время является помощником депутата Тюменской областной Думы С. С. Козлова.

Женился в 1993 году, будучи студентом второго курса Тюменского госуниверситета, на однокурснице Светлане. Она узнала его ещё раньше, когда молодой учитель начальных классов проходил государственную педагогическую практику в общеобразовательной школе № 50 г. Тюмени. Светлана в то же время училась в этой школе в выпускном классе. По распределению после вступительных экзаменов они оба оказались в учебной группе общего языкознания филфака. Сейчас в их семье растут двое сыновей — Фёдор и Назар.

Павел Черкашин рос в учительской семье. Дом всегда был полон книг. А вот «голубого экрана» поначалу вовсе не было. Телевидение появилось в Мужах только в 1978 году, поэтому будущий поэт счастливо избежал отупляющей зависимости от этого вездесущего теперь детища прогресса. Зато к литературе приобщился с младых ногтей, полюбил искренне и на всю жизнь.

До пяти с половиной лет, пока не научился самостоятельно читать, роль его книгочеев выполняли мама и бабушка. Вечерний час чтения стал доброй традицией. Преимущественно это были произведения Александра Пушкина, Николая Некрасова, Фёдора Тютчева, Корнея Чуковского и Сергея Михалкова. Кое-что «перепадало» и из Сергея Есенина, с творчеством которого Павел Черкашин основательно познакомился лишь в классе шестом-седьмом, хотя, как внешне

выглядит великий русский поэт, знал, сколько себя помнит, так как его небезызвестный портрет с трубкой и тростью всегда стоял на книжном шкафу в прихожей.

Чтение книг наряду с уединёнными долгими прогулками по тайге стало для него любимым занятием. Читал много и запоем. Иногда даже в ущерб школьным домашним заданиям, которые затем приходилось делать второпях как «неизбежную необходимость». Постепенно обрисовался и круг любимых писателей, который по мере взросления изменялся и расширялся.

Литературным творчеством Павел Черкашин начал заниматься с десяти-одиннадцати лет, самое первое стихотворение было посвящено маме. Более зрелые вещи стали создаваться гораздо позднее. Первая публикация появилась в печати в шестнадцать лет в общественно-политической газете Шурышкарского района «Ленинский путь».

Своими «учителями-ориентирами» в большой литературе, оказавшими влияние на творческое становление, считает: в поэзии — Сергея Есенина, Николая Клюева, Марину Цветаеву, Анну Ахматову; в прозе — Константина Паустовского, Юрия Казакова, Владимира Тендрякова, Фёдора Абрамова, Владимира Солоухина, Джека Лондона.

Творчество Павла Черкашина поражает многогранностью, разнообразием, психологической и духовной насыщен-

ностью и в то же время лёгкостью языка и слога. В настоящее время он пишет как прозу, так и поэзию, занимается публицистикой, краеведением, творческой обработкой финно-угорского фольклорного материала и литературными поэтическими переводами.

Творческое кредо определяет как передачу сбережённого русского слова, исторической памяти народа и любви к малой родине и Отечеству по непрерывной цепи наследования грядущим поколениям. Этот же канон является для писателя важным мерилом в оценке произведений современной литературы России.

Он неоднократный участник семинаров молодых писателей Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Член Союза журналистов России с 2000 года. В члены Союза писателей России был принят по рекомендациям поэтов А. С. Тарханова, М. К. Вагатовой (Волдиной), М. А. Федосеенкова и Н. С. Евдокимова в 2003 году. Член Международного литературного клуба «ИнтерЛит» с 2004 года. Член Международного сообщества «Союз творческих сил «Озарение» с 2006 года. Участник V, XIII и XIV конференций Ассоциации писателей Урала (2004, 2012, 2013). Участник VII межрегионального фестиваля «Православие и СМИ» (2007). Участник V, VI и VII окружного фестиваля детской и юношеской книги (2012,

2013, 2014). Участник XIV Всероссийского съезда Союза писателей России (2013).

Активно занимается общественной работой. С 2005 года является членом окружного попечительского совета по строительству памятника и увековечению памяти известного лесовода Югры А. А. Дунина-Горкавича. В 2006 году был избран председателем контрольно-ревизионной комиссии правления Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России, а в 2011 году — ответственным секретарём данной организации.

Павел Черкашин — ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Имеет военные награды, в том числе Благодарность Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации В. В. Путина (2000). Восемь лет отдал службе в органах внутренних дел, был выпускающим редактором окружной ведомственной газеты «Правопорядок Югры». Более трёх лет занимал руководящую должность в Главном управлении МЧС России по ХМАО — Югре. Майор внутренней службы в отставке.

Лауреат IV Международного телевизионного фестиваля «Золотой бубен» (2000) в номинации «Журналист-репортёр» за документальный фильм «Наши в городе... Грозном» (в числе группы создателей). Лауреат конкурса, организованного Министерством внутренних дел России, на лучшее произведение

литературы и искусства о деятельности органов, подразделений и служб внутренних дел (2001) в номинации «художественная литература и драматургия». Лауреат Всероссийского конкурса «Щит и перо» (2003) в номинации «Милицейские кадры». Лауреат II Международного фотоконкурса «Фоторобот» в рамках VI Международного телевизионного фестиваля детективных фильмов «Закон и Общество» (2004) в номинации «На боевом посту». Лауреат российского сетевого литературного конкурса «О любви» (2005) в номинации «Поэзия». Лауреат Всероссийских открытых фестивалей гражданской поэзии «Часовые памяти» и «Московские салюты» (2006, 2008). Лауреат Всероссийского поэтического конкурса «Золотая строфа» (2009). Лауреат VI регионального конкурса «Книга года» за книгу «Хокку» и аудиокнигу «Охотничьи тропы» (2012). Дипломант Литературной премии Уральского федерального округа за книгу стихотворений «Хокку» (2012). Лауреат Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2013). Лауреат премии Губернатора Югры в области литературы в номинации «Проза» (2013). Лауреат Всероссийской литературной премии «Молодой Петербург» в номинации «Очерк» (2013). Лауреат регионального литературного конкурса к 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского за книгу «Время молитвы» (2014). Лауреат премии «Событие» департамента культуры Югры за книги «Хокку», «Русские хокку» и «Тысячелистник» (2014).

Многие произведения Павла Черкашина переведены на иностранные языки и языки народов России. На его стихи написано девять романсов и двадцать шесть песен.

Автор тридцати книг поэзии и прозы, семи электронных изданий произведений. Избранные произведения писателя вошли в хрестоматию для учащихся 9-11 классов «Современная литература Югры», антологию произведений членов Тюменской писательской организации Союза писателей России «Тюменской строкой...», 4-томную «Антологию ямальской литературы» и энциклопедию «Поэты России».

«ТЕБЯ ЛЮБЛЮ, ТЕБЕ МОЛЮСЬ...»

О книге Павла Черкашина «Родина моего детства»

Странное всё же испытываешь чувство, когда рецензируешь книгу известного уже поэта и прозаика П. Р. Черкашина, — и при этом помнишь его университетским первокурсником Пашей, знаешь его, студенческие ещё, опыты писания, хранишь первую тоненькую книгу с трогательно старательным автографом...

Зная немало об авторе, как-то по-новому осознаёшь привычную истину: никому не дано угадать будущего. Но, прожив это будущее, редко кто захочет (и сумеет) сделать его будто и не бывшим: не просветит былую радость нынешней тоской, единение — разлукой, ликующие краски только открываемого мира — однотонностью привычных будней. Книга стихов и прозы Павла Черкашина «Родина моего детства» имеет редкий подзаголовок — «Книга сыну». Посвящение ли это? Жанровое определение? Не знаю. Безусловно одно — особое умение автора заботливо и милосердно, не обманув доверия, ввести сына (а вслед за ним и читателя) в добрый и вечный мир, не насторожив, не испугав его сложностью, но и не умолчав о ней.

Объёмному сборнику, особенно когда он включает тексты, создававшиеся в течение продолжительного времени

(1989-2001), да ещё разных родов и жанров (лирические стихотворения, рассказы, эссе, этюды), всегда грозит потенциальная опасность рассыпаться, стать тем бором, где каждая сосенка сама по себе. Книга Павла Черкашина счастливо избегла этой участи. Вся она одушевлена мыслью о наследстве, которое должно быть передано из щедрых рук старших (деда, мамы, самого автора, ставшего в свой черёд отцом) тем, кто идёт следом.

Разное бывает наследство. Новое время — увы! — всё настойчивее актуализирует только первичное значение этого слова — «имущество, которое меняет владельца». «Родина моего детства» о совсем другом наследстве. Речь в ней идёт не о тугой мошне, хоромах или наделе земли. Тому, кто ещё ничего не знает о жизни, автор отдаёт целый мир — мир красоты, любви и веры. Давно расставшись с ним, лирический герой при первой возможности стремится вернуться туда, где «колыбель моя и рай». А если возвращение невозможно, спасёт память, когда сливаются сон и явь:

Старый дом. Деревенская улица.
И скамейка вросла у ворот.
Может быть, это снится мне, чудится
Дровяник, тесный двор, огород?

(Родина)

Так в стихах. Так и в прозе — в лирическом этюде «Мальчик и звёзды», рассказе «Заброшенное зимовье», в, безусловно, программном автобиографическом эссе «Память сердца».

Мотив памяти сквозной в произведениях Павла Черкашина. Напомним, что и первый поэтический сборник его назывался «Память детства» (2000). С памятью личной («На опушке костерок...», «Из детства», «Чайного цвета осенние лужи...» и др.) сливается у поэта память родовая («Кресты оконных рам...»), память «милой родины» (пожалуй, ни у одного из «русских северян» не встречала таких непосредственных и славных строк о «милом посёлке, далёких Мужах»). При этом и дедовский дом («Две ели росли возле нашего дома...»), и отцовская могила («Вот он — мужевский погост...»), и приполярное село — не только «искорки Сибири», но и «российская глубинка». Не знаю другого поэта, который бы так же решительно назвал обские края, Югру и Ямал — Рассеей. Память способна вести лирического героя по вполне реальным местам и дорогам:

От Ямгорта к Евригорту <...>
И пешочком — на Лагорту,
Что прозрачней хрусталя.

(«От Ямгорта к Евригорту...»)

Ей открыты и дороги легендарного прошлого, где мчатся «на русичей сонмы татар». Но в любом случае память в стихах Павла Черкашина осязаема. Поэт отыскивает её материальный знак, к которому можно прикоснуться («Я камешек малый привёз с Бурудана...»), ощутить его запах («Я присел у старейшины кедров // И вдохнул его хвойный дурман...», «Веет мхами и морошкой...»), увидеть цвет («...таращит алый глаз // Молодой шиповник...», «Малахитово-багряный // Над тайгой плывёт закат...»). С мотивом памяти связана метафора сердца. Источник её прямо указывается автором: названо имя Константина Батюшкова, эпиграфом сделаны строки из его знаменитого стихотворения «Мой гений». Однако и эту традиционную метафору удаётся по-своему опредметить и тем самым «остранить»: поэт боится, как бы «не треснуло» его сердце, как трескаются засохшие ели на том месте, где был когда-то родной дом... Не приведи Бог лишиться корней, потерять возможность возвращаться раз за разом в то единственное на земле место, где могут «боль и страх перегореть и превратиться в прах».

Отчётливо видно, как в более поздних стихах нарастает горечь отъединения, отдаления от родных краёв («Край родной, ты мой ангел-хранитель...», «Опять душа истосковалась...», «Нет, не красотам Приэльбрусья...»). Но точно так же, по восходящей, развивается и мотив веры в возвращение, перерастающий наконец в публицистически открыто

провозглашённый обет: «Клянусь, я буду там...». Надо знать биографию поэта, в жизнь которого вошла война на Северном Кавказе, чтобы понять искренность и силу надежды, которые скрыты в этой клятве. Откройте автобиографическое эссе «Память сердца» — и вы поймёте, что для лирического героя и прозы, и стихов Павла Черкашина вера в родину неотделима от веры в святое провидение; во всяком случае, на краю небытия он посылает молитву обоим.

Тема наследства и мотив памяти в книге «Родина моего детства» обладают ещё одной важной смысловой гранью. От многих молодых художников автора отличает сознание того, что он творит в Большой Литературе. С благодарностью вспоминаются в книге имена великих предшественников — Михаила Ломоносова, Константина Батюшкова, Сергея Есенина. Отчётливо прочитываются в лирических и эпических текстах мотивы прозы Константина Паустовского, Юрия Казакова, Владислава Крапивина, поэтов, писавших о Кавказе. Речь отнюдь не о внешней подражательности и тем более не о прямом заимствовании, а о свободе говорения на поэтическом языке, которая достигается лишь сознательным ученичеством. Подобно поэтическому слову, как великий дар предков воспринимается поэтом и язык родного края — не только своего народа, но и тех, кто хозяин этого края от века. Давно своими стали имена этой земли: студёный Кузьёль, Бурудан, Кокпела, Шурышкары, Тильтим. Собственное

житьё на земле поверяется реалиями, переданными когда-то чужим, но давно «ороднённым» словом («Я родился — кричали халеи...», «От Ямгорта к Евригорту...»).

Передать сбережённое слово по непрерывной цепи наследования — этим стремлением объясняется появление в книге Павла Черкашина раздела, который привычен в изданиях художников слова малых народов Севера, но не припомню, чтобы встречался у русского северянина. Речь о том, что названо автором «Примечаниями», а на самом деле представляет собой словарь географических названий, бытовых и других реалий земли по имени «ямальский юг». Впрочем, и определение «словарь» не исчерпывает особенностей этого раздела. Автор не ограничивается только толкованием значения слова. От него начинает разворачиваться сюжет собственной жизни, исторического прошлого края; рассказ о жизни человеческой дополняется рассказом о жизни птиц, зверей, трав, деревьев, цветов; от земли поднимается к горным вершинам, наконец — к звёздам. И вновь возникает ёмкий образ просторного и красивого мира, принятого в наследство и бережно передаваемого всем, кто идёт вслед.

Говоря о поэтическом языке лирики и прозы Павла Черкашина, хочется отметить ещё одну его особенность. Нет, автор не чужд игры ритмами, размерами, строфикой («Песня над тундрой», «Ритурнель» и другие). Но, думается, главное достоинство поэтического языка сборника — какая-то орга-

ническая простота, естественность говорения и образности. Объясняется ли это адресованностью сборника (напомню, мы читаем «книгу сыну»)? Конечно, нет. Скорее всего, это удивительное свойство идёт от редкого умения не забыть, сохранить в себе самом не столь ещё давнюю детскость, когда радостно создаются новые слова («лесодрём», «щёлкий звук»), когда ищутся словесные аналоги, с помощью которых «ловится» цветовое буйство мира («золотые проседи берёз», «малахитово-багряный закат»). Думаю, именно путешествие по тропе детства и поможет уйти от возможных опасностей, от которых предостерегал автора мансийский поэт Андрей Тарханов, добрым словом напутствуя его в предисловии к первому поэтическому сборнику. А приводит эта тропа в мир удивительный при всей его внешней безыскусности:

После ливня в деревеньке
Пахнет зеленью и мятой.
Выйду босым на ступеньки —
Небо тучками измято,

Но уже играет солнце
У ограды с лебедою.
Распахну ему оконце
И — на речку за водою.

(«После ливня в деревеньке...»)

МБУ «Централизованная библиотечная система»
Инв № 79273/1-М

Пожалуй, наиболее точно определит этот мир и авторское отношение к нему слово «милый». Оно, кстати, кажется, самое любимое и часто встречающееся в поэтическом словаре книги: «на родине на милой повыпали снега», «милый посёлок», «милые мои старики», «милые, милые дали», — этот ряд можно длить и длить. Но важнее понять, почему так охотно, так последовательно пользуется им художник, дополняя словами «родной», «любимый». Уверена, что так проявляется не декларированная, но от этого не менее чёткая не только художественная, но и человеческая позиция — небоязнь «незрелого тихого слова». Сейчас это редкое, редчайшее качество — так открыто, так доверчиво признаваться в любви и делать свидетелем этого признанья целый мир:

Я люблю маму,
Люблю своих близких,
Люблю незнакомых,
Но милых людей.
Я люблю снег,
Однокурсницу Лизку,
Родного подъезда
Скрипящую дверь.

(«Я люблю звёзды...»)

Старые и малые, на двух ногах или четырёх лапах («Вечер. Выйду на крыльцо...», «В гостях у Найды»), вросшие в мёрзлую землю или летящие в «холодных просторах» — все, кто живёт в мире, равно дороги автору. Значит ли это, что «вечный мир», открывающийся в книге, благостен? Отнюдь. Достаточно прочитать любой текст из прозаического раздела сборника, чтобы понять, какими сложными видятся автору отношения человека с человеком («Дорога под звёздами»), с природным миром — тайгой («Ведьмино болото», «Забавный случай») или её обитателями («Поединок»). Поступки героев рассказов и эссе, как и в стихах, одушевлены памятью и благодарностью («Громовская избушка», «Заброшенное зимовье»), диктуются готовностью отвечать за невольный грех, за слишком поздно обретённое понимание сути вещей («Анастасия», «Поединок»). Придирчивый критик, пожалуй, имеет основания обвинить автора в узнаваемости ситуаций: уж сколько раз в русской прозе мы видали, например, бедолаг Карюх и Рогуль! Да вот только часто ли нам встречались коровы Настасьюшки?

Не нова, конечно, и сама повествовательная манера — использование сказового приёма. Но «не первое» не означает «вторичное» и ещё менее «неорганичное». Да, где-то приём менее удачен («Заброшенное зимовье»). В других текстах «чужое слово» уловлено точнее, передано естественнее,

организует живой непосредственный диалог («Жили-были старик со старухой»). Но в любом случае за поэтическим приёмом снова прочитывается не только художественная, но и жизненная позиция автора — уважение к человеку, стремление доверить ему слово о мире и готовность довериться этому слову. Надеждой на упрочение этой позиции в последующих произведениях Павла Черкашина и позволю себе закончить слово о книге «Родина моего детства».

Кандидат филологических наук,
доцент кафедры русской литературы
Тюменского государственного университета
Наталия ГОРБАЧЁВА

СТИХИ

ОБЛАКА

Из-за кромки голубой,
Из далёка-далека,
Белоснежною гурьбой
Выплывают облака.
Расскажите, братики,
Про мою про милую
Родину любимую,
Про далёкий край,
Где луга раздольные,
Вечера туманные,
Птицы в небе вольные
И леса урманные.
Росы где медвяные
И озёра рыбные,
Небеса багряные
Да стихи былинные.
Реки где неспешные,
Песни где простые,
Первоцветы нежные,
Родники святые.
Мудрость там народная,
Там и жизнь — не мука,

А стрела свободная,—
Звучна и упруга.
Там живётся-дышится
Жизнью разноликой.
И тайга колышется
Над рекой великой.

1989

УТРО

Я вижу: над урманами,
Безбрежными и тёмными,
Встаёт златое солнышко,
От дрёмы просыпается.

Над ним чертоги синие,
Вдали земля незримая,
А позади алеется
Заря полоской тонкою.

И реченьки привольные
На каждой на излучине
Влекут рассветы дивные
В сторонушку далёкую.

А горы синегрудые
Встречают утро новое,
Молчанием величества
Благословляя день.

1989

* * *

Осень бьётся в окно желтогрудым листом,
Так и манит в чарующий лес.
Он пылает бескрайним столиким костром,
Поднимаясь до хмурых небес.

На ладонях своих он качает ветра,
И торжественно лист опадает.
Всё пустынней и тише стоят вечера,
И смиренный покой наступает.

1989

* * *

Милые, милые дали,
Где бы я ни был — душой
С вами расстанусь едва ли.
Край мой суровый, большой
Снится ночами упрямо,
Родина манит домой.
Снится усталая мама,
Шепчет: «Сынок, милый мой».

«Мама, мама, я здесь, я приеду!»
А в ответ: «Поскорее, сынок!»
И во сне, по таёжному следу,
Я бежал на заветный дымок,
Что мелькнул миражом вдалеке.
Плыл по быстрой знакомой реке...
Вот и дом.
Я склоняюсь у маминых ног.
А в ответ нежно-нежно: «Сынок!»

1989

* * *

Ах, не вспугните утреннюю тишь,
Когда молчат в урманах птицы,
И ты как будто бы летишь
И видишь звёзд далёких лица.

И кажется: взмахни руками,
И к солнцу смело полетишь,
Взметнёшься ввысь над облаками.
Лишь не вспугните утреннюю тишь.

Пусть не шумят листвой деревья,
И Обь не пенится волнами,
Пусть мирно спит моя деревня,
И детство вновь приснится маме.

1989

* * *

Завывает вьюга в трубах,
В подворотнях зло гудит,
Шубы рвёт, кидает грубо,
Не противься — застудит.

Воет снежною волчицей,
Стонет, злится, верещит,
Белым мороком промчится
Так, что ива затрещит.

Раздурилась не на шутку!
Слышишь: ведьмою визжит,
Будто в дьявольскую дудку
Дует дико — свет дрожит.

И позёмка вьётся лихо,
Заметая все следы…
А на утро — солнце! Тихо.
Словно не было беды.

Раскрасневшиеся дети
В школу весело бегут.
Нет счастливее на свете
Этих радостных минут!

1989

* * *

Волнующий осколок лета:
Луга послушные ветрам,
Заря до самого рассвета —
Сестра космическим кострам.

Шептанье трав, вуаль тумана
По-над рекою, неба синь.
Я словно в сказке без обмана,
Пленённый кротостью осин.

Нагая тишь меня балует,
И лишь далече за селом
В тайге кукушечка кукует,
Поёт извечный свой псалом.

1989

* * *

За туманами седыми,
Где бореи верховодят
Над лесами голубыми,
Где волчицы ночью бродят

С жутким воем, за снегами
Приютился край родной.
Вспоминаю я о маме:
Как живётся ей одной?

Может, зимние метели
Беспокоят её сны?
Или ведьмы налетели
И убили звон весны?

На душе моей тревожно:
Как там мама? Как она?..
А по небу осторожно
Среди туч плывёт луна.

1989

* * *

Лопаются почки,
Клейкие листочки —
Милые сыночки —
Зелены меха.

Стройная берёзка,
Нежные серёжки,
Мягкие сапожки
Бархатного мха.

Зашуми сильнее
Да повеселее,
Чтоб по всей Рассее
Песнь лилась твоя

Чтобы лёгкий ветер,
Чтобы тёплый вечер
Был душист и светел,
Слушая тебя.

1990

* * *

А в октябре листы уже опали,
Видны комочки опустевших гнёзд;
В глаза мои сорвались и упали
Сиреневые брызги ярких звёзд.

Как вызвездило! Небо осияно!
Божественно, безлунно, глубоко!
И рвётся с губ безумное: «Осанна!» —
За то, что дышится свободно и легко.

1990

РАДОСТЬ

Просторы и озёра,
Безмолвные леса,
Из алого узора
Над Обью небеса.

И тихо шепчут ивы
В объятьях ветерка.
Их песни так красивы,
Мелодия легка.

Спокойствие и сладость!
Чуть плещется река.
Какая это радость:
Быть вместе на века

С румяною зарёю,
Где дремлют берега,
Бежать по травостою
В росистые снега.

Молчать и удивляться,
Душою мир любя,
Счастливо улыбаться:
Ведь любят и тебя!

1990

ЯНВАРЬ

Январь. В искристом благолепьи
Стоят кедровые леса.
На бурных водах льды окрепли;
Мышкует рыжая лиса.

Январь. Пороша и метели,
Ласканье снега, колкость льда.
Вчера синицы прилетели —
Ударят снова холода.

Январь. Полярное сиянье —
Вуаль небесная зимы.
Луны и солнца состязанье,
И лишь свидетелями мы.

Январь. Морозные узоры
Звенят, как будто говоря:
«Пусть насладятся ваши взоры
Великолепьем января!»

1990

ЯНВАРСКАЯ НОЧЬ

Светла дорога — полнолунье
В объятьях звёздного ковша.
Семь звёзд — ночное семиструнье —
Звенят, симфонию верша.

Хрустят шаги. Я — просто путник —
Душою умиротворён.
Плывёт звезда — далёкий спутник,
Сверкает гордо Орион.

Устали ветры верховодить,
Всё погрузилось в зимний сон.
И лишь сиянье в небе ходит
Зигзагом, лентой, колесом!

1990

* * *

Шумят столетние леса,
Зимой закованные в холод.
Крадётся тощая лиса
Поближе к людям. Стужа. Голод.

Вдали, поникши головой,
Стоят оснеженные ёлки.
По-за холмами жуткий вой —
Там на охоту вышли волки.

Всё погружается во мрак.
На небе звёзд не видно боле.
Трещит мороз — коварный враг,
Не попадись ему на воле.

Опять бесчинствует зима,
И ветры высь клубами вьюжат,
Гудит пурга, и на домах,
Сметая снег, позёмка кружит.

1990

ПЕСНЯ НАД ТУНДРОЙ

Морозные просторы. А ну-ка поскорей
Садись на нарту,* путник, да крикни веселей!

По насту голубому помчимся. Где хорей?*
Садись смелее, путник, домчу тебя скорей!

Февральский день недолог, до звёзд бы нам успеть.
Садись поближе, путник, вдвоём — дружнее петь.

Помчат мои олени — завьюжит снега пыль.
Садись, усталый путник, и мне поведай быль.

Пускай гуляет ветер по тундре голубой!
Садись, мой новый спутник, не грустно нам с тобой.

Уступит солнце небо красавице-луне.
Садись-ка рядом, путник, ты будешь другом мне.

И пусть до горизонта лишь снежные костры,
Мы скоро будем дома, рогатые — быстры!

1990

Знаком * помечены те слова, к которым есть примечания в конце книги.

* * *

Картины детства вновь перед глазами:
Большие звёзды, северный простор,
Таёжная речушка за Мужами*
И в синей дымке дальний косогор...

1990

РОДИНА

Старый дом. Деревенская улица.
И скамейка вросла у ворот.
Может быть, это снится мне, чудится
Дровяник, тесный двор, огород?

Здесь я бегал когда-то мальчишкою,
И ласкал добродушных собак.
Вот бочонок с откинутой крышкою,
По воде в нём гуляет черпак...

Как и прежде, погода здесь хмурится,
Нет, не балует север теплом.
Косогор синегрудый сутулится,
И печально шумит за селом.

Всё знакомо, всё близко и дорого,
Как доверчивый свет фонарей.
И вдали от безумного города
Становлюсь я нежней и добрей.

1990

* * *

Мужи. Ветхие домишки,
Как телята у реки.
В печке — жаркие дровишки,
Что, озябли, старики?

Вьюжит. Низкие крылечки
Заметает. Холода!
Из трубы гудящей печки —
Дымовая борода.

Мужи. Улочки кривые.
Свет усталых фонарей.
Пляшут вихри снеговые
От калиток до дверей.

Стужа. Люди по квартирам,
Псы в конурках — калачом
Ждут: когда поладят миром
Ветры с солнечным лучом.

Потерялся за Юганом*
В непогоде косогор.
Вьюга плачется цыганом
И сугробит наш забор.

Утром ветры оттрубили,
Вдаль метели унесло.
Мужи — искорка Сибири!
Приполярное село!

1990

* * *

Застыла нежная тоска
В моих глазах ручьём бездонным.
Забилась жилка у виска,
Когда окинул взглядом томным

Родные милые места,
Где я бродил, где одиноко
Любил я думать у креста,*
И вспоминать о разном, много.

И вновь очистилась душа,
Приятно сердце защемило.
Любуясь, встал я, не дыша:
Как всё знакомо! Как всё мило!

Берёзы, кедры и река...
Как я люблю суровый край!
Тайгой укрытые брега, —
Здесь колыбель моя и рай.

1990

* * *

На родине на милой повыпали снега.
В лучистом одеяньи сверкают берега.

Тихи — устали — реки, струятся подо льдом,
Грустит, присыпан снегом, покинутый наш дом.

Пушиста и красива синеющая даль.
Стоит ольха, накинув снежинчатую шаль.

Цветок под белой шапкой безропотно поник,
Вдали, снежком припудрясь, безмолвствует тальник.

На родине на милой повыпали снега.
Как серебристый саван, передо мной луга.

В искристой строгой сказке застыли дерева.
От праздничного света кружится голова.

1990

РИТУРНЕЛЬ

Буранит
Январь низкотучный,
Дыханьем морозным дурманит.

Метелит
На тропах таёжных,
Ковры ветроструйные стелет.

Туманит
Снегами просторы
И в даль хороводную манит.

Шагает,
Следы заметая,
А утром уж солнце сверкает.

Играет:
Лучи золотые
В цветы на снегу собирает.

Лукавит
Январь низкотучный:
То бурю, то солнышко славит.

1990

* * *

Кресты оконных рам,
Как древние иконы.
Как вход в заветный храм,
Крыльцо родного дома.

Взойду, не говоря, —
Здесь тихая обитель.
Мне двери отворя,
Утешится родитель.

И станет вновь тепло
На сердце очерствелом,
Как будто обрело
Благословенье тело.

1991

* * *

Последняя просинь дрожит в небесах,
А завтра тоскливые тучи
Расскажут совсем о других чудесах,
О том, как сильны и могучи
Ямальские ветры, седые снега,
Как злобствует мачеха-вьюга,
И что не сумеют помочь берега
Далёкого тёплого юга.
Поэтому, долго смотрю в синеву,
Желаю насытиться ею.
И грежу в таинственном сне наяву, —
Заветные чувства лелею.

1991

* * *

Пепельно-розов осенний закат.
Листья кудрявою стайкой
Мчатся, кружась, за речной перекат
Над пожелтелой лужайкой.

Трогает ветер верхушки осин,
Гладит багряные косы.
С неба струится размытая синь
На серебристые росы.

Нежно прощается слабенький луч,
Тихо скользит надо мною…
Вот и пропал за полотнами туч.
Эй, подожди! Я с тобою!

1991

* * *

Чайного цвета осенние лужи —
Прелыми листьями горбится дно.
Милый посёлок, далёкие Мужи!
Вот он ручей и родное окно.

Бледное небо над крышею дома,
Ржавой щеколды простуженный звук,
Говор зырянок... О, как всё знакомо!
Даже дождинок рассеянный стук.

Где-то в ветвях одинокого тала
Ветер балует с усталой листвой.
Вот и ещё одна осень настала;
Здравствуй, сентябрь с золотой головой!

1991

* * *

Отплясала цыганкою осень.
И, небесный простор серебря,
Затянула последнюю просинь
Снеговейная шаль ноября.

Заискрились таёжные дали
Ожерельем холодных огней,
И уснули в покорной печали
В ожидании мартовских дней.

1991

* * *

Зашаманили странники ветры,
Загудел сонный бубен ветвей,
И запели столетние кедры,
Как всесилен косматый борей.*

Заметались в испуге позёмки
По ложбинам охотничьих троп
И, нырнув в голубые сутёмки,
Улеглись на сутулый сугроб.

Разлохматились белые вихри
На покорных развалинах крон,
Пронеслись, на мгновение стихли,
И, полянам отвесив поклон,

Застонали, завыли волками
И притворно ударились вспять.
Но, взмахнув ледяными руками,
Заплясали снегами опять.

1991

* * *

Люблю я пасмурные дни
За их тоскливую свирель,
Что мне поёт, когда огни
Пронзают снежную метель.

Позёмка, словно верный пёс,
Скулит и ластится у ног,
А я стою в тени берёз
Печален вновь и одинок.

И хнычет вьюга надо мной,
Вокруг снежинками соря.
Совсем не хочется домой, —
Стою, калитку отворя.

А ветры стонут: «Погоди-и!»,
И вихри тянут в карусель.
Люблю я пасмурные дни
За их тоскливую свирель.

1991

* * *

Зима. Хрустящие шаги
По свежевыпавшему снегу.
И мысли призрачно легки
Облечены в густую негу.

Полуулыбка на устах,
Иду таёжною тропою.
Лесная снежень на кустах
Блестит алмазною крупою.

Скупое теньканье синиц,
Дерев немое удивленье.
А я дарю из-под ресниц
Любовь и умиротворенье.

1991

* * *

Малахитово-багряный
Над тайгой плывёт закат.
Солнца шар такой румяный!
Я ступаю наугад
По петляющим тропинкам,
То взбираюсь на бугор,
То шагаю по низинкам
На лесистый косогор.
На пушистой кедрохвое
Розовеет солнца свет.
В небо светло-голубое
Рвётся радостный сонет!
Сколько таинства во взоре,
Сколько музыки в весне!
В лёгком дымчатом узоре
Я бреду, как в дивном сне.
Птицезвон струится рьяный,
Речки слышен перекат.
Малахитово-багряный
Над тайгой плывёт закат.

1991

* * *

Минуя густые пролески,
Пришёл на озёрную гладь,
Увидел хрустальные всплески,
Гусей белокрылую рать.

Лучами меня осеняя,
Росой заблистала заря.
Чу! Ветер: стокрылая стая
Взметнулась, волненьем бурля.

Их белым пожаром объятый,
Сгорю я, наверно, дотла.
И, падая в кружево мяты,
Напьюсь я земного тепла.

1991

* * *

Вечер. Выйду на крыльцо.
Тихо скрипнет половица.
Запрокину ввысь лицо,
Улыбнусь: «Опять не спится».

Спят дворы, в окошках ночь,
Урезонились собаки.
И звезда — вселенной дочь
Посылает в вечность знаки.

За околицей овраг
В белом зареве черёмух.
Не спеша, густеет мрак.
А на простынях зелёных

Тёмной глыбой дремлет конь.
Лишь моей душе не спится.
Вдаль зовёт звезды огонь
Тишиною насладиться.

1992

ИЗ ДЕТСТВА

Деревенское милое детство!
Там тайга и реки поворот,
Рыжий кот, что живёт по соседству,
Песня ржавая старых ворот.

Вот оно: в чёрных шортиках, в майке,
С новой ссадиною на ноге
Семенит босиком по лужайке,
Задыхаясь, кричит: «Э-ге-ге!»

И хохочет в бездонное небо
Всё в сиянии тёплых лучей.
Славно пахнет соломою, хлебом
И древесным настоем сеней.

Старый дед улыбнётся лукаво,
Подмигнёт и качнёт головой.
«Ох, найду на тебя я управу!
Ну, варнак*, вот приди-ка домой!»

Но, смеясь: ведь простят малолетству
Все оплошности юной поры,
Деревенское звонкое детство
Открывало дороги в миры.

1992

* * *

На опушке костерок
Да кривой шалашик.
Что за чудо-вечерок
В тишине ромашек!

Всё умолкло до поры,
И река пустынна,
Только ноют комары,
Наглотавшись дыма.

Неподвижна и темна
Шевелюра кедра,
Что-то вспомнила она,
Отдохнув от ветра.

Да и сам, присев к огню,
Ворошу былое,
Верю завтрашнему дню,
Забываю злое.

Светлым думам под напев
Всей душой внимаю,
Мир, как заново прозрев,
Глубже понимаю.

1992

* * *

Вот и осень-златовласка
Пригласила на свиданье.
В теремах таёжных — сказка!
Словно милое преданье
О волшебниках и феях
Заглянуло в край далёкий.
Сердце просится: скорее —
В золотой простор глубокий!
В добрый мир сентябрьских песен,
В ветровые карусели.
Лес осенний так чудесен
В листопадные метели!

1992

* * *

Обессилела листва,
На родную землю пала.
Вековечность естества —
Миг. Не много и не мало.

Было так, так есть и будет.
Завершится жизни круг,
Но опять в ночи разбудит
Сочной почки щёлкий звук.

1993

* * *

Месяц — бледная улыбка
В лёгкой дымке облаков
Всплыл над лесом, словно зыбка,
И поплыл вдоль берегов

Звёздных рек. Всё выше, выше,
Затмевая Млечный Путь.
А потом на нашей крыше
Притулился отдохнуть.

Засверкал с небесной кручи,
Разбросал горстями свет.
Только вдруг ушёл за тучи,
Кинув лучик, как привет.

1993

* * *

Лай собак всё реже, умолкает,
Дремлет лошадь мордою в стожок.
Между звёзд пугливо проплывает
Молодого месяца рожок.

Под ногами свежая пороша,
Оттого шаги мои хрустят.
Я иду, и дум печальных ноша
Сброшена, мечты мои летят.

В ночь такую верится в святое,
В то, чем жив, и что не позабыть.
Оживает в памяти былое,
И желанье трепетно любить.

1993

* * *

Вешним цветом утро пьяно,
Кличут солнце глухари,
И оно встаёт румяно
В одеянии зари.

Золотистая тропинка
Через речку пролегла...
Эх, российская глубинка!
Сколько тайны сберегла

Ты в своих глазах озёрных,
В вековечном сне лесов,
В дождевых жемчужных зёрнах,
Даже в хриплом лае псов

На коров бредущих стадо
Через мост на водопой.
Здесь я дома. И не надо
Мне сторонушки другой!

1993

* * *

Видишь, ветер по дороге
Всё позёмкою кружит,
В небе месяц остророгий
Над домами ворожит.

Пригорюнился, родимый,
Потускнел и рожки вниз.
Вечный странник нелюдимый
Над избой у нас повис.

Знать, согреться захотел он,
Коль всё жмётся у трубы,
Очертив зелёным мелом
Дыма жаркие клубы.

1993

* * *

После ливня в деревеньке
Пахнет зеленью и мятой.
Выйду босым на ступеньки —
Небо тучками измято,

Но уже играет солнце
У ограды с лебедою.
Распахну ему оконце
И — на речку за водою.

1993

* * *

Неизбежно лето постарело,
На щеках лугов слезинки рос,
Треплет ветер зло и оголтело
Золотые проседи берёз.

Вот и вновь пожаром увяданья
Озарилась древняя тайга.
Вторит дождь покоя заклинанья,
Кружит листопадная пурга.

2000

* * *

Закат рассыпал бисер алый,
Кровинки солнца там и тут,
Но все их слижет ветер шалый,
И звёзды веки разомкнут.

Скользнут к земле далёким взором
Тысячелетние лучи
И небо высветят узором
Седого Млечного Пути.

2000

* * *

Веет мхами и морошкой,
Кедра шишкой смоляной,—
Я таёжною дорожкой
Возвращаюсь в дом родной.

Сколько тропок по увалам
Паутинкой разрослось,
Вдаль к уральским перевалам
Сквозь урманы разбрелось.

Но свою я стёжку знаю,
И тверда моя нога,
Доберусь, не заплутаю,
На Югана берега.

Вот и Мужи на пригорке,
Со дворов собачий лай.
В старом домике-коморке
Встретит дед меня пернай.*

Поведём мы разговоры
Час за часом за столом
Про сибирские просторы,
О грядущем и былом.

2000

* * *

Вмёрзли палые листья янтарно
В льдистый панцирь таёжных озёр,
И рисует, отнюдь не бездарно,
На оконцах мороз-фантазёр.

И всего-то единственной краской,
А не в силах глаза оторвать.
Каждый вечер всё новою сказкой
Будет сердце моё чаровать.

2000

* * *

Вот он — мужевский погост,
И отца могила:
Распушился лисохвост*
В полный рост крапива.

Всё уныло, без прикрас,
Время — не садовник.
Лишь таращит алый глаз
Молодой шиповник.

Но, не знаю отчего,
Здесь я ближе к Богу.
Словно тут врата Его
К горнему чертогу.

2000

* * *

Суставы ноют... Видно, непогода
Опять ползёт в югорские края.
Дождём разрежет шторы небосвода,
Свои шинели серые кроя.

Превозмогу недуг и прогуляюсь,
Светило провожу за окоём.
Как будто навсегда с ним попрощаюсь,
Хотя всего неделю жить с дождём.

2000

* * *

Кружит осень прощальные вальсы,
Завершает последние па.
На озябшие тонкие пальцы
Снеговая садится крупа.

От Урала с верховьев Кокпелы,*
Как на русичей сонмы татар,
Мчатся стужи метельные стрелы,
Раздувая холодный пожар.

Ни души на Тильтимской дороге,*
Да и сам я лишь мысленно там,
Ворожу у зимы на пороге
И молюсь первобытным богам.

2000

* * *

Нахлынул вечер тёплою волною,
И по Оби закат расплавил медь.
Здесь мысли дышат миром, не войною, —
И так легко, что страшно умереть,

Недолюбить и недолюбоваться
Таёжной чародейною красой.
Хочу на веки вечные остаться
В краю родном, хотя б лесной росой.

Чтоб навсегда от грусти излечиться
Заветным эликсиром кедрача
И вдоволь водяникою* напиться
В последних бликах нежного луча.

2000

* * *

Опять не сплю я. Ностальгия
Вконец измучила меня,
И серых дней перипетия
Гнетёт, бессонницей звеня.

А мне б туда, где травы в пояс
На заливных обских лугах,
Но не торопится тот поезд,
Что увезёт на всех парах

К земле, что ждёт за окоёмом
В суровой северной дали,
Где за бескрайним лесодрёмом
Мой отчий дом в лучах зари.

Когда же буду там? Не чаю.
Тоска совсем с ума свела.
Увы, лишь мысленно гуляю
По милым улицам села.

2000

* * *

Мороз неделю лютовал,—
Лоснилась инеем тайга.
Продрогший солнечный овал
Угрюмо кутался в снега.

Во двор не выгонишь кнутом!
Лишь за охапкой новых дров
Пойдёшь... и опрометью в дом,
Кусает стужа — будь здоров!

Но — отпустило. Наконец
Желанный отдых у печи.
С окошка стаял леденец,
И пляшут солнышка лучи.

2000

* * *

Нет, не красотам Приэльбрусья,
Я поклонюсь родной земле:
Тебя люблю, тебе молюсь я
И исповедуюсь — тебе!

2001

* * *

Лес, ожидая весну, занедужил;
Под малицей* снежной журчит Бурудан,*
В белой нарядной ягушке* и Мужи,
И древний, как звёзды, дремотный урман.

Тихо. Лишь дрогнет нечаянно ветка,
И хрупкую вечность таёжного сна
Робко нарушит ольха-малолетка
Шептанием радостным: «Здравствуй, весна!»

2001

* * *

Январь. Мой край метелями распят,
Позёмкой крепко-накрепко стреножен.
В тяжёлой снежной парке* Мужи спят,
А редкий свет фонарный так ничтожен.
Лишь провода мучительно гудят,
Да вой пурги пронзительно тревожен,
Да мгла кругом. И в сердце столько страха,
Что молишь Иисуса и Аллаха.

2001

* * *

Опять душа истосковалась
По Приполярью, по Мужам,
И надо ей всего-то малость:
Чтоб оказаться снова там.

Вернуться птицей перелётной,
Приплыть листочком по Оби,
Упасть звездою искромётной,
Горящей жаром от любви

К родной земле, земле заветной,
Что не забудет, не предаст,
В беде и в радости приветной.
Клянусь, я буду там. Бог даст!

2001

* * *

Я присел у старейшины кедров
И вдохнул его хвойный дурман,
И заслушался песнями ветров
Под священный таёжный тумран.*
Он чарует — немотствуют недра,
Лишь бормочет ручей, как шаман.
Я не в силах шагнуть даже метра
И языческим внемлю богам.

2001

* * *

Край родной, ты — мой ангел-хранитель,
Ты — заветная пристань моя,
Ты — надёжная сердцу обитель
От обид и пропащего дня.

Мне урманы твои — словно боги,
Звёздный купол небес — точно храм,
А ручьёв безымянных пороги
Исцеляют мне душу от ран.

Знаю, примешь скитальца-поэта
Ты радушно и мудро, как мать.
И тебя, как у солнышка света,
Не отнять у меня, не отнять.

2001

ЗАРЯ-ЧУДОДЕЯ

Какая небывалая заря!
Как будто солнце выросло стократно.
Осенний лес, как россыпь янтаря,
Заворожил листвой. И вдруг, внезапно,
Дохнуло от светила теплотой,
И я спешу мгновеньем насладиться.
И так же, как замшелый сухостой,
Желаю к новой жизни возродиться.
И вот — о, чудо! — в солнечных лучах
Все тяготы мирские, боль и страх
Перегорели, превратились в прах.
А сухостой, гляди, он весь в цветах!

2001

* * *

Я камешек малый привёз с Бурудана,
Из пенистых вынул его бурунов,
Он родиной пахнет, водою Югана,
Вобравшего свежесть лесных живунов.*

Смотрю на него и опять вспоминаю
Как русло Югана петляет к Мужам.
Забросить бы всё и приехать к пернаю,
Хотя бы денёк поболтать по душам.

И камешек этот возьму я с собою,
Верну его снова в родимый поток.
Не мне ли, с моею чужбинной судьбою,
До боли понятно, как он одинок.

2001

* * *

От Ямгорта* к Евригорту*
Всё проплыть мечтаю я,
И пешочком — на Лагорту,*
Что прозрачней хрусталя.

Знаю, путь далёк и труден:
Нюрмы,* соймы,* зыбь да топь,
В одиночку — безрассуден:
Вдруг недуг иль непогодь.

Но — мечтаю безнадёжно,
Мыслей бег не запретить.
Мне, как сыну, невозможно
Эту землю не любить!

2001

* * *

Две ели росли возле нашего дома,
Шумливо встречали над Обью рассвет,
Но улица детства теперь незнакома:
И ели засохли, и дома уж нет.

А раньше, бывало, их чуткие песни
Мне были святей, чем церковный псалом.
Растаяли звуки...
Ах, сердце, не тресни,
Хоть память скрутила тебя на излом.

Теперь там коттеджи парадно теснятся,
Но я давних лет позабыть не смогу:
Мне всё-таки снятся, по-прежнему снятся
Две ели и дом на обском берегу.

2001

* * *

Я родился — кричали халеи*
Над холодным простором Оби,
И звенели мне кедры и ели:
«Ты люби эту землю, люби!

Этот край у подошвы Урала,
Где зимою камлает* метель,
На границе Югры и Ямала —
Твой хранитель, твоя колыбель.

Ты узнаешь от нас её песни
И легенды твоих праотцов,
Ты поверишь: нет края чудесней,
Чем обитель святых живунов».

2001

* * *

Как по весне стремится птица
К своим гнездовьям каждый раз,
К тебе, родимая землица,
Спешу припасть. Хотя б на час!

К твоим морошковым низинам,
К цветам, чей запах — умереть!
Щекой прильнуть к твоим осинам
И поцелуй запечатлеть.

Пройти тайгой к сухому кедру —
Приметен он за полверсты —
И поклониться в пояс ветру,
Камням урочища «Кресты».

Отсюда взору нет преграды,
Как на ладони, отчий край.
И знаю я, что здесь мне рады,
Как возвращенью птичьих стай.

2001

* * *

Люблю погожим сентябрём
Уйти в тайгу за окоём,
Прийти к студёному Кузьёлю,*
Его воды напиться вволю.
И снова в путь, через кораль,*
Лесной дороги манит даль
К предгорьям сонного Урала,
Что протянулся от Арала
К холодным карским берегам,
Где плач гагар и чаек гам.
Пусть пришлый скажет:
— Тут болота,
Здесь комарья, мошки без счёта,
Зимой так долог шабаш вьюг. —
А я люблю ямальский юг!

2001

* * *

В Мужах нечасто так бывает...
Был день отчаянно хорош!
Лишь вспомню, снова сердце тает
И дарит радостную дрожь.

Вот я бегу на Обь купаться —
Вода прогрелась на мели.
Мне восемь лет. А может статься,
Мне даже не было восьми.

Минуты стаей птиц летели,
А мне казалось — замер миг,
Когда к струящейся купели
Душой и телом я приник.

Да, этот день я помню ясно,
Хотя прошло немало лет.
В тот миг я родине прекрасной
Своей дал верности обет.

2001

ПРОЗА

СТАРИКИ

(этюд)

Знавал я одного старика, Шубина Семёна Трофимовича. Жил он в глухой северной деревушке, где и улиц-то не было, а дома срублены так, как того их хозяин желал, и потому располагались без всякого порядка. Дом Трофимыча, так все звали старика, ютился на самом краешке деревни, даже несколько на отшибе от всех.

Угрюмо и сиротливо смотрел он на остальные дома из-под покосившихся простеньких наличников двумя своими окнами-глазами с уже мутным, но уцелевшим с давних, ещё довоенных времён стеклом. Бурые стены из тесаных брёвен, когда-то очень давно добротно срубленных крестом, сильно рассохлись, и в этих чёрных щелях плотно разросся мох, зарубцовывая морщины-раны всё больше ветшающего дома и оставляя на их месте сыроватый зелёный шов. Дом глубоко врос в землю, по самые окна, а крыша, которая была в

«молодые» годы крутой и крепкой, теперь рассыпалась местами в труху. Частые дожди, сильные северные ветры, жуки-древоточцы постепенно разрушили её. И в последние годы она больше уродовала дом, чем защищала от осенних ливней, возвышаясь бесформенным горбом на его непрочной спине.

Даже издалека было видно, как стар этот махонький невзрачный домик, весь в пятнах мха и лишайника, с полуразвалившейся, как старый пень кедра, закоптелой трубой.

Трофимыч тоже был стар. И даже чем-то похож на свой домишко. Прошлой осенью ему исполнилось восемьдесят четыре года.

Он давно был сед. Смуглое лицо с годами ссохлось и пожелтело, а морщины смяли в тёмные складки все черты лица, оставив мелкие островки дряблой кожи. Когда Трофимыч молчал, то губ не было даже видно: на их месте тянулась глубокая борозда, которая изгибалась полумесяцем вниз. И лишь когда дед хотел что-нибудь сказать, борозда вдруг начинала дрожать, превращалась в тёмный проём, и оттуда слышались тихие хриплые звуки.

Трофимыч, может быть, по натуре своей или в силу преклонного возраста, был большой молчун, и разговорить его было крайне трудно. Когда он кого-либо слушал, то «отвечал» собеседнику больше выражением глаз, мимикой или спокойными одобряющими движениями головы, рук, а гово-

рить избегал. Да и трудно ему было это: часто он закашливался, и тогда всё сгорбленное тело деда судорожно вздрагивало от затяжного приступа кашля, и на грустных глазах от натуги выступали крупные слёзы, которые, скатываясь, тут же терялись в морщинах.

— О-хо-хо, — произносил Трофимыч страдальческим голосом, тяжело дышал осторожно шёл дальше, опираясь на неровную сучковатую палку, верную помощницу в недалёких путешествиях до единственного в деревеньке магазина. Палка жалобно скрипела, обречённо тыкаясь тупым концом в притоптанный снег узкой тропинки, петлявшей между массивными сугробами, и слегка дрожала в немощной руке деда.

На деревне Трофимыча знали все, но никто не был с ним в близких приятельских отношениях. Его друзья, с которыми он ещё восемь-десять лет назад балагурил длинными летними вечерами на широкой завалинке, и которые шутливо называли его Тропинычем за то, что лучше всех знал окрестные таёжные тропы, уже покоятся на маленьком деревенском кладбище, что приютилось тут же около деревни, в светлом березничке. А у молодых семей свои дела, свои друзья, хотя из сострадания и уважения к старости помогают ему.

Да и сам Трофимыч сторонился людей, считал, что его время давно кануло в прошлое, жизнь на исходе и незачем мешать молодым.

Но ко мне он почему-то имел доброе дружеское расположение, говорил гораздо охотнее, однако слишком впустую, расточать слова тоже не любил. Может быть, чувствовал Трофимыч во мне такую же одинокую душу, несмотря на большую разницу лет. Мне была приятна старикова приветливость, и я отвечал ему тем же. Частенько зимними вечерами я сиживал у него, слушал неторопливые рассказы и всякую бывальщину.

В эту зиму я бывал у Трофимыча намного чаще, чем в прошлые годы. Хорошо было посидеть за горячим чаем в умудрённом покое стариковского дома, когда за окнами бесится пурга и ничего не видно за снежной круговертью.

Так было и на этот раз.

Третий день сильно буранило. Плотной завесой хороводил колючий снег, обхватывал меня со всех сторон. Всюду, на сколько хватал взгляд, косматились вихри. Они то явственно проступали из ночной тьмы, то беспомощно рассыпались, уносимые властным ветром. Надрывно ныли провода, и единственный в нашей округе фонарь бросал бледный жиденький свет на ближайшие десять метров. Он часто мигал, и когда, сильно мотнувшись в сторону, гас, холодная мгла совсем наваливалась на меня, давила своей непроглядностью.

Все тропинки были щедро заметены, и я шёл наугад через огромные снеговые хребты, ориентируясь только на слабый мутный свет от ближайших окон.

Дошёл до знакомой повалившейся изгороди, поднялся по заметённому крылечку до двери, толкнул её плечом и тяжело ввалился в сени. Отряхнулся в темноте от снега и перевёл дух. Затем отворил вторую дверь и вошёл внутрь дома. В нос ударил знакомый застоявшийся запах ветхой избы.

Трофимыч закряхтел, поднялся навстречу и натужно произнёс:

— Думал, и не придёшь сегодня. Погодка-то! О-ёй!

— У-уфф, убрррро-одно! Да и не видно ни зги. Что за зима!

— Да-а, лютует... Так ведь Рождественские на дворе, как иначе-то. Оттого и разошлась, ведьма, — сказал старик и глухо усмехнулся. — Погоди ишо, вот Крещенские следом будут... Хм-м... Ну, хорошо, что пришёл. Озяб?

— Вообще замёрз! Как только нос не отвалился!

— Хм-хм..., м-м-мда, — промычал старик и, словно очнувшись, сказал:

— А я уж и чай заварил, пока тебя дожидался.

— Чай! Это замечательно! Поди, ещё с рябиной?

— С ней, а как же.

— Люблю с рябиной! Да еще с такой зверской стужи.

— Знаю.

— Ох, Трофимыч, балуешь ты меня.

— Да чего уж там, — засмущался дед. — Садись за стол.

Трофимыч ушёл на кухню, погремел там посудой и через некоторое время вышел, неся в руках две местами обитые кружки и надтреснутую фарфоровую сахарницу с простенькой росписью на боку.

Мы пили чай. Я осторожно втягивал в себя обжигающую оранжево-золотистую жидкость, понемножку глотал и с наслаждением ощущал, как растекается внутри горячая струйка по всему телу, согревая его. Горьковато-терпкий привкус рябины вливал новые силы, приятно бодрил голову. Блаженство!

За чаем и разговорами незаметно прошло, наверное, полчаса. Вдруг я заметил, что из-за края тонкой перегородки на кухню на меня внимательно смотрит — чёрная лохматая морда.

«Не встретил, как обычно», — только сейчас отметил я.

Это был совсем уже старый крупный охотничий пёс по кличке Верный. Он тоже доживал свой собачий век, и в последние два-три года сильно одряхлел.

— Верный, — позвал его Трофимыч, — поди сюда.

Пёс поднялся с задних лап, вышел из-за перегородки и тяжело заперевалился с боку на бок к нам, зацокал когтями по широким половицам. Проковылял с десяток шагов и неловко с сиплым выдохом осел подле старика-хозяина.

Он был по-собачьи сед. Кроме белых бровей и усов, которые смешно топорщились на морде в разные стороны, серебристые шерстинки проступали по всей шкуре и особенно по заострившемуся хребту, где сливались в сплошную белёсую полосу. Глаза Верного глядели страдальчески и как-то обречённо. Он тяжело дышал и мелко, как от озноба, подрагивал всем телом.

— Что, старина, не подох ещё? — насмешливо спросил дед, помолчал и уже печально добавил:

— Я вот тоже.

— Ну, Трофимыч, брось ты это. Зачем же смерть свою торопить?

— Да уж отгуляли мы с ним своё, отгуляли. Теперь вот только маемся. Каждый божий день хворь какая-нибудь привяжется, ночь лежишь, стонешь... Да и глаза у меня стали совсем никудышные. Очки мои видел? Стёклы у них — с палец. Во! А давно ли мы с Верным ещё на белок хаживали! Точнёхонько в глаз бил! За все года только четыре шкурки плохим выстрелом загубил. Да-а, было время... Кха-кха-кха...

Трофимыч глухо закашлялся, медленно развёл руки в стороны, словно извиняясь, и бессильно уронил их обратно на колени. Затем ещё медленнее встал и ушёл шаркающими шагами на кухню. Когда вернулся, на его острые плечи была накинута сильно поношенная, обремкавшаяся по краям клетчатая шаль.

— Что-то зябко мне стало, — сказал надтреснутым голосом Трофимыч, пододвинул расшатанный табурет ближе к печке и замолчал. На этот раз надолго.

Старый пёс последовал примеру хозяина, тоже перебрался на дрожащих лапах к печной дверце, за которой порывисто гудело пламя, и с длинным шумным вздохом сел на задние лапы.

В избушке воцарилась уютная тишина.

Мерно чакали на стене ходики, зажатые с двух сторон древними помутневшими фотопортретами в рамах, мирно гудела печка, потрескивала полешками. От печного жара, прозрачными волнами поднимающегося вверх, все предметы были расплывчаты и неясны. На покосившихся стенах вздрагивали огненные тени, и лицо старика было щедро освещено тёплым оранжевым светом.

Трофимыч по-прежнему молчал. Видно было, что дед крепко задумался. Он почти не моргал, а только щурился и смотрел на жаркие всполохи огня, которые отражались искорками в его воспалённых глазах.

Вдруг он повернул голову к Верному. Тот тоже обернулся к хозяину, и они долго, пристально смотрели друг на друга, видимо, вспоминая что-то очень давнее, известное только им двоим. Потом Трофимыч вздохнул и горестно кивнул старому другу. Пёс в ответ слабо шевельнул ушами, махнул вялым хвостом, грузно переступил с лапы на лапу, и они снова стали глядеть, как стреляют догорающие дровишки, и слушать привычное гудение старой печки.

Я взглянул на ходики. Они показывали половину двенадцатого.

«Однако пора собираться», — мелькнуло у меня в голове. Я тихо оделся, получше укутался и подошёл попрощаться с Трофимычем.

— Ну, пора, я пойду.

Трофимыч не ответил. Возможно, даже не услышал меня. Только пёс нехотя посмотрел в мою сторону и тут же повернулся обратно, втягивая носом разогретый воздух.

Я заулыбался, глядя на этих старых друзей, и тихо вышел из дома, не забыв плотно закрыть рассохшуюся дверь.

Когда прошёл несколько шагов, то невольно оглянулся назад. Дом стоял ещё больше занесённый снегом, и махонькие окошки были уже наполовину упрятаны за высокими плотными намётами.

Сейчас я далеко, но вот они передо мной: вросший в землю, горбатый и почти развалившийся домик на окраине, беспрестанно болеющий и добрейший дед Трофимыч и его дряхлый пёс Верный — милые мне старики.

1990

ГРОМОВСКАЯ ИЗБУШКА

Избушка знакомого мне лесника хоронилась от посторонних глаз в уютной лесной низинке. Со всех сторон её обступали высокие горбатые холмы. Они были похожи на огромных мохнатых дремлющих медведей, которые охраняют покой северной тайги уже многие-многие годы. А у подножия холмов, в логу, катила прозрачные воды небольшая таёжная речушка Юган. Шумливо звеня на перекатах, она послушно огибала крепкие подошвы увалов и спешила дальше, образуя местами красивые тихие заводи с пёстрым галечным дном.

На берегу одной из таких заводей и стояла избушка. Она была ещё крепка, хотя и срублена в самом начале двадцатого века. Щедро освещённая солнцем, избушка была похожа на теремок и весело глядела из-под резных ресниц-наличников на блестящую гладь заводи.

Я полюбовался на этот живописный вид с вершины холма и стал спускаться вниз по едва заметной тропинке.

В мутно-голубом небе, каким оно обычно бывает ранней осенью, неторопливо плыли редкие пухлые облака, которые казались такими мягкими обманчивому взору.

В тёплом воздухе обилие осенних запахов тайги. В дурманящий тяжёлый аромат багульника вплетается терпкий, насыщенный запах хвои, смолы, влажный запах прелых листьев, лишайников, грибов, ягод...

Необыкновенно тихо.

Стараясь как можно меньше нарушить эту торжественную тишину, я подошёл к избушке. Её сухие бревенчатые стены были слегка теплы от осеннего солнца. Дверь оказалась закрыта.

«Странно, — удивился я. — Договаривались встретиться сегодня».

И тут я заметил скрученную в маленький свиток записку, которая была втиснута в косяк двери. Вызволил её оттуда, развернул и прочитал.

«Ключ найдёшь под кадушкой. Суп и чай на печке, хлеб на столе под полотенцем. Приду в четыре часа. Хозяйничай пока без меня.

5 сентября.

И.С.».

Под кадушкой, и правда, лежал тяжёлый, слегка погнутый и местами подёрнутый ржавчиной ключ. Однако замок открылся без труда.

Обстановка в комнате была довольно скромная. Две кровати: одна — хозяина, другая — на случайного гостя. Между окнами на южную сторону стоял крепкий квадратный стол на точёных ножках, покрытый уже выцветшей клеёнчатой скатертью. Слева, у боковой стены, притулился древний, обитый тонким листовым железом сундук, какие бывали раньше у зажиточных людей. По всей видимости, сундук — семейная реликвия. Над скважиной для ключа на медной полудужной пластинке была вытиснена дата: «1861 ГОДЪ».

Над сундуком висело овальное зеркало с отколотым низом, а ещё выше, под самым потолком, примостилась двухъярусная полочка с книгами. Через всю комнату по деревенски широким половицам расстелены три домотканых половика.

На кухне же, которая представляла собой небольшой закуток за печкой, было и того скромнее. Кроме маленького приземистого столика и двух табуреток, там ютился ещё видавший виды медный умывальник с мелкими зелёными пятнышками окиси, а над столиком на стене висел старый, но аккуратно подновлённый белой краской посудный шкафчик с потерянной дверкой.

Но, конечно же, «гордостью» дома была печка. Она занимала добрую пятую часть всей комнаты, свежо выбеленная заботливым хозяином. С такой печкой наверняка никакие северные морозы, никакие, даже самые свирепые, ветра не страшны.

Плита была ещё тёплая. На ней я нашёл всё то, о чём сообщал в записке лесник. Сытно наелся, и от этого стало клонить ко сну. Я разулся и прилёг подремать на сундук, который жалобно скрипнул подо мной.

...Проснулся оттого, что по дому кто-то ходил, шаркал ногами. В комнате было сумрачно, но я разглядел присевшего у зашторенного окна лесника.

Он ещё не выглядел стариком, хотя ему исполнилось уже шестьдесят лет. Звали его Илья Силыч Громов. Этакий коренастый, немного сутулый мужик, довольно подвижный и редко страдающий какой-либо хворью.

Лесник заметил, что я проснулся, и оживился.

— Хе-хе! Соня! Давненько мы с тобой не видались. Здорово! — сказал он, протягивая руку, и улыбнулся из-под густых седоватых усов.

— Здорово, Илья Силыч, — ответил я, ещё зевая.

— Давно что ль пожаловал?

— Да в двенадцать к избушке-то подошёл. Поел, ну и разморило сытого да с дороги... А суп у тебя отменный, Илья Силыч!

— Так я теперь по этой части многому научился. Хозяйка-то моя, Варя, семь лет, как в земле лежит, царство ей небесное... Печенью сильно страдала, вот и забрала её костлявая раньше сроку.

Лесник неожиданно погрустнел:

— Теперь вот один. И всё сам.

— Тяжело?

— Бывало. Да я уж привык. Редко, кто ко мне забредёт, да и детки давненько не наезжали.

— У тебя что, есть дети, Илья Силыч? Ты что-то никогда раньше не рассказывал. Не обмолвился даже.

— Есть, а как же! Дочка и сын.

— Надо же! И где они?

— Сын-то у меня, Аркадий, — геолог. Ему уж тридцать четыре года. Он далеконько. На Камчатке прижился. Там и половинку свою нашёл. А дочка, Светлана, в Тюмени, в институте учится сельскохозяйственном. Ей-то всего двадцать лет.

— М-м. Так и внуки, наверное, есть?

— Е-е-есть! — смеясь, протянул Илья Силыч. — Два целых. Постреля-а-та — каких редко встретишь! Васютке одиннадцать в мае было, а Борьке-то ещё девять. Ну и шкодники! Мать их, Надежда, когда письмо пишет, всё про них рассказывает. Иной раз до того забавно случается, а вдругорядь и взгрустнется — себя вспомню: таким же был в детстве, шебутным. Но что мне нравится, так это то, что они честные. Хитрые, но честные! И никогда друг на друга вину не свалят, вместе ответ держат. Хорошие, думаю, парни будут, надёжные.

— А ты, Илья Силыч, давно в тайге живёшь?

— У-у, давно-о. С пятьдесят пятого года. Как нашёл свою Варварушку, женился, так и стали с ней здесь жить. Она, как и я, — истинно лесная душа.

— Порядком уже. А избушка-то с какого времени, с какого времени тут стоит?

— Э-э-э, её мой дед ещё срубил. В 1900 году. Он по тем временам хорошо жил, зажиточно. Охотник был заядлый, у местных ханты многим премудростям промысла зверя научился. На медведя не раз ходил. Тогда-то и появилась в тайге эта избушка. Он один её строил, тайком.

Про избушку долго никто не знал. Место выгодное, в стороне от больших лесных дорог. Такое, что и не сразу приметишь, даже если поблизости где-то будешь. Да и от посёлка избушка за двадцать километров.

Батя мой и тот проведал о ней, когда из детских штанов вырос и вместе с отцом на охоту стал ходить. Кстати, наличники-то на окнах видел?

— Видел. Красивые.

— Он резал. Можно сказать, душу свою в эту работу вложил... Да и я только к восемнадцати годам узнал о существовании громовской избушки — так её теперь зовут в округе. А до той поры — удивительное дело! — хоть бы кто из родных обмолвился...

Теперь уже многие знают, но ходят ко мне всё одно редко. Так, охотник какой-нибудь, мимоходом. Меня же отшельником считают. В посёлок нечасто наезжаю, по зимнику, за провиантом. Выпишу продуктов, тех, что не портятся долго, куплю книгу какую потолще, с людьми знакомыми поговорю да и обратно. Остальное всё тайга даёт.

Отвык я от суеты за тридцать пять лет, тишину люблю.

— Понимаю, Илья Силыч. Мне и самому тишина милее, простор наш таёжный.

— Так ты ведь один постоянный гость. Еще время как-то находишь.

— Э-эх, я бы и на месяц, а то и на год здесь остался. Душе человеческой нынче как никогда отдых нужен. В городе каждый день душа коверкается — злых много и уставших. В деревнях наших, хоть и получше, а всё же не то.

Жалко, черствеют люди.

— Верно говоришь, — вздохнул Илья Силыч. — Раньше я охотнее в посёлок ездил, а сейчас приедешь — лица скучные, озабоченные, разговора избегают.

— Замотали селян вконец, потому и угрюмые. Ведь до чего дошло: веселятся только под хмельком, под хмельком же драки и распри.

— О-хо-хо, так ведь оно.

Наступила пауза. Я поспешил сменить тему беседы.

— А избушка-то крепкая, хоть и девяносто лет служит.

— Ещё бы! — оживился лесник. — Она ведь полностью из лиственницы! А лиственница — лучшее дерево: не гниёт и не рассыхается долго. Я однажды в каком-то журнале прочитал, да и ты, наверно, про это тоже знаешь, Венеция-то итальянская практически вся на лиственничных сваях стоит. Не первый век, а ничего, держится. Так что веками громовская избушка будет в тайге стоять!

— Да уж, смышлёным мужиком был дед. Да и у тебя, Илья Силыч, руки хозяйственные.

— Это ты про суп, что ли? — довольно засмеялся лесник.

— Ну-у, почему сразу суп? Не только. Банька ведь тоже тобой рублена?

— Мной. И банька, и дровяник, и стайка для Воронка. Я их в молодости ставил, в 1965 — 1966 годах, когда ещё и Светланки в помине не было.

— Хорошее место выбрал твой дед: у реки. И кедрач совсем рядом.

— Да, место чудесное. Вода-то, видел, какая прозрачная! Юган из лесного озерца берёт начало. Там, видать, подземный ключ есть. Я когда-то ради интереса ходил туда. Ну, брат, и далеко же! Отсюда ещё километров двадцать семь будет. А то и все тридцать. Места там совсем дикие, нетронутые. Красота!

— На моей родине тоже есть речка Юган. Только она раза в два уже и мельче, чем эта.

— А-а-а, этих Юганов по Северу — сотни, а может, и тысячи. Правда, не у всех судьба добрая. Наш-то Юган люди берегут, он чуть не священным считается.

— Повезло. А наш совсем загадили. Уж и в газету писали не раз, местный писатель целую книгу написал о проблемах природопользования в нашем районе, да всё пока без толку. Жалко на речку смотреть — гибнет. А раньше такая красавица была! Теперь же по берегам стёкла, банки, железо... Какая корова ни пройдёт, редко ногу не поранит.

И снова в избушке тишина. За окном, над тёмным косогором, уже мерцали крупные звёзды. Илья Силыч зажёг керосиновую лампу.

— Не жалеют люди природу, не берегут нисколько. Всё дармоедами привыкли жить. Лишь бы им одним было хорошо и уютно, а там хоть трава не расти.

— И уже не растёт местами.

— Во-от. А всё почему? Потому что связь, родство с природой потеряли. Ведь ну сами же себя с корнями из своей надёжной обители вырвали. А там, где вырвано, сплошные раны. Земле-то, хоть и бессловесная она, что, не обидно разве?

Я согласно кивнул.

— То-то же.

Илья Силыч разволновался.

— Вот ты сам посуди: оторвался человек от природы, как на чужбине оказался. А чужбину-то никто не бережёт — не своё. Так ведь?

— Ну.

— И дом родной потерян и забыт. Что получается?.. Вот и живёт человек бездомным, как пёс какой. Мотает его по миру. И, главное, ведь сам оторвался, добровольно, никто не принуждал.

— Да, надо, чтобы у каждого человека своё родное гнездо было, свой дом.

— Вот-вот. Как у меня — громовская избушка, чтобы привязанность была. Хватит по чужим краям скитаться!

Илья Силыч помрачнел лицом, замолчал, повернулся к окну.

...Ночью мне приснилось, будто я лечу. Тайга раздвигается, как в сказке, и кажется ещё более величественной и прекрасной.

И где-то внизу, в небольшой низинке, в центре огромного лесного моря, крохотное светлое пятнышко, будто маячок — громовская избушка.

1991

ЗАБАВНЫЙ СЛУЧАЙ

Вечером вся тайга погружается во тьму. В темноте слух человека обостряется, и многие незнакомые звуки, шорохи, которые днём не замечаешь, становятся отчётливо слышны. А незнакомое всегда пугает.

Ночью, да ещё если небо заволокло тучами, пропадают все ориентиры, и ты становишься слепым, не знаешь куда идти, совершаешь глупейшие ошибки, не подозревая о них, и

сбиваешься с пути окончательно. К тревожному страху прибавляется паника. А человек, который потерял в тайге самообладание, пусть даже днём — это погибший человек.

И ещё. Люди всегда преклонялись перед чем-нибудь могущественным, господствующим, понимая своё бессилие. Например, перед землетрясениями, ураганами, штормами, эпидемиями. Даже обыкновенная гроза во многих вселяет ужас.

Так и здесь. Если человек волею случая оказался в ночной тайге, он неминуемо начинает ощущать мощь и власть огромной лесной стихии над ним. Все его мысли пронизывает обречение, и он — сломленный — зачастую сдаётся, теряет веру в свои силы и становится игрушкой гнетущего воображения, страшных фантазий, самовнушений, которые подавляют разумное начало.

А если кто и выходил после долгого плутания из тайги, то это счастливая случайность и божья помощь. Ночная тайга — непредсказуема. Всякое в ней случается.

И со мной было. Правда, не совсем такое, о чём я только что сказал, но всё же.

Один раз, осеней этак шесть назад, забавный случай произошёл. Леший меня по тайге водить вздумал.

Пошёл я на охоту. Далеко забрёл. На Птичье озеро. Я вообще люблю по тайге ходить, много интересного видишь.

Так вот, подошёл, гляжу: уток на озере — тьма! И, видимо, человеком давно не пуганые. Плавают, покрякивают.

Ну, я в тот раз хорошо свою меткость проверил! За каких-нибудь полчаса в рюкзаке лежало уже девять уток. Думаю, хватит мне, и повернул обратно, на Крутую Горку — есть у охотников наших такой ориентир в тайге.

Дело уже к вечеру было, а до моей избушки ещё порядком через увалы брести. Решил перекусить, а то за день сильно проголодался. Выбрал местечко посуше под дуплистым кедром, достал бутылку с домашним квасом, сухари, банку тушёнки открыл — сижу, подкрепляюсь, только за ушами трещит.

Поел, сложил остатки обратно, встал, дальше иду. Взглянул на то место, где Крутая Горка должна быть — ан нет её!

Что такое?.. Может, ненароком в низинку спустился?.. Непохоже... Да вроде бы там Крутая была.

Поразмышлял так и припустил правее, понадеялся на память. Иду, а Горки всё нет. Прошёл ещё с четверть часа, гляжу — тот же дуплистый кедр передо мной, под которым я отдыхал! У меня аж в виски ударило.

«Господи! Нечистый, что ли, кружит?». Солнце-то, вижу, уже садится, а до избушки добираться ещё о-ё-ёй.

Повернулся опять лицом к Крутой Горке и пошёл напролом. Через кочки, через кустарники, через пни — лишь

бы не заплутать. Быстро иду, тороплюсь, отпыхиваюсь, как после хорошего бега. Солнце уже закатилось — я ещё быстрее, сердце колотится, пот градом. И надо же было так случиться: ка-ак хлопнусь со всего маху, споткнувшись о кочку.

Ругнулся про себя, встаю, спешу дальше, отряхиваясь на ходу, взглянул на Крутую Горку — нет её. Да что за чёрт! Опять прозевал! Ведь вот тут только что была.

Нет, думаю, не проведёшь! Стиснул зубы и пошёл в прежнем направлении. Долго шёл... Вдруг у меня даже мурашки по коже поползли!

Передо мной снова разлапился тот же дуплистый кедр. Я даже оцепенел.

Это ж кому рассказать! Я, профессиональный охотник, знающий в округе все лесные тропы, постыдно кружу в окрестностях Крутой Горки и не могу до неё дойти. Что же, прикидываю, делать-то? Уже темнеет, до избушки далеко, я зверски устал, ночью, известное дело, идти опасно, совсем заблудишься или того хуже в болоте завязнешь. Поминай потом, как звали.

Решил на этом же злополучном кедре переночевать. Залез, разместился в более-менее удобной развилке, привязался к стволу для страховки шнуром и, так как был смертельно измотан, быстро заснул.

К утру остудившийся за ночь осенний воздух стал пробираться сквозь одежду и неприятно холодить тело. От этого и проснулся.

Уже светало. На востоке занималась заря, тёмные холмы всё больше проступали из сумрака. Пока спускался с кедра и усиленно разминал онемелое продрогшее тело, совсем рассвело. Первые размытые туманной дымкой лучи окрасили верхушки деревьев в лёгкий розовый цвет, и тайга преобразилась.

Я закинул на плечи рюкзак и пошёл к Крутой Горке.

На этот раз благополучно добрался до неё, и было очень непонятно и удивительно: как это я вчера мог так глупо плутать. Уж точно леший проказничал!

Ну, а от Крутой Горки к избушке дорога известная. Много раз хоженая. Где-то уже через час с небольшим я был у её порога.

Вот такой забавный случай. Жаль только, что самого лешего не видел. А интересно было бы с ним поговорить, а!

Я после того случая много раз у Крутой Горки бывал, но всегда днём, а то кто знает, может, опять леший позабавляться бы захотел.

1991

ВЕДЬМИНО БОЛОТО

Собрался я как-то за клюквой пойти. Уже ударили первые заморозки, и по всем приметам было самое время собирать эту целебную ягоду.

Накануне приготовил ведро, одежду, еду, спички, сунул в карман бинт и пузырёк с зелёнкой — на всякий случай. Потом сходил в дровяник и принёс пару болотоходов, сплетённых из молодых берёзовых прутьев. Всё аккуратно сложил до завтрашнего утра, и остаток вечера провёл в тепле избушки.

Забавно потрескивала полешками гудящая печка. Было похоже, словно за чугунной дверцей идёт самый настоящий бой: вот стреляют из винтовки, вот отчётливо трахнула пушка, и, визгливо жужжа, пронёсся раскалённый снаряд, что-то зашуршало, обрушилось от его падения, и снова треск, свист, гудение — и всё это озаряется пышущими языками пламени, бросающими блики сквозь резные отверстия дверцы на тёмные стены.

Уже стемнело, а я так и не зажёг свет. Молчаливо сидел за столом и мысленно перебирал в уме: всё ли приготовил, чтобы идти завтра за клюквой. И вдруг из закоулков памяти неожиданно всплыл давний случай, когда я тоже пошёл на болота за этой ягодой.

Загадочная тогда со мной история произошла.

Я в то время ещё молодой был. Года два прошло, как в избушке таёжной стал жить. В ту осень клюквы на болотах видимо-невидимо было, словно её нарочно кто рассыпал. Вот и порешил за клюквой пойти.

А есть тут у нас километров за восемь очень гиблое место. Ведьмино болото. Его все в округе знают. Много людей затянуло. Дурная у болота слава. И воздух, говорят, над тем местом нехороший. Одурманивающий.

А я по своей глупости, храбрости напускной решил пойти именно на Ведьмино болото. Набрать клюквы, а потом перед всеми побахвалиться: вот, мол, Ведьминого болота не

испугался, был там, да ещё и клюквы полное ведро принёс. Ох, дурная голова!

Отправился и никому не сказался, в какое место меня чёрт понёс. Сейчас вспоминаю: какой же самонадеянный был. Сколько мне, двадцать семь, что ли, было тогда? Да, так, вроде.

Пришёл на болото. Осмотрелся. Место, и правда, не из приятных. Около берега лес мёртв, ни одного живого деревца или кустика. Само болото в небольшой впадине: шагов четыреста в длину и примерно с половину того в ширину. Мрачное место, одним видом угнетает.

Тут я первый раз оробел. Но поколебался и решил: не уходить же обратно, коли пришёл. И к тому же какой-то странный навязчивый азарт охватил меня, когда я глядел на болото. Невиданно огромные, как крыжовник, сизо-рубиновые бусины клюквы очаровывали, неудержимо влекли к себе, щекотали взгляд тусклым спелым блеском.

И вот я ступил на моховой ковёр Ведьминого болота. Боже мой! Под упругим настилом от ноги сразу побежала едва заметная пологая волна. Меня слегка качнуло, будто я находился в лодке. Надо быть начеку. Осторожно ступая, продвинулся ещё на пять шагов. Остановился, поглядел на болото, на мёртвый лес.

Что-то было не так! Корявые скелеты деревьев почему-то медленно поднимались вверх! Росли!

Страшная догадка толкнулась в голову. Я метнул взгляд к ногам. О, ужас! Тонкий слой сфагнума* прогнулся подо мной в глубокую воронку, которая продолжала заметно вдавливаться вниз, и сквозь мох сочилась наверх грязная жижа. Она покрывала болотные сапоги уже выше щиколотки и медленно, но неуклонно поднималась, а под моховым настилом что-то отвратительно забулькало и тихо зашипело, пробираясь наружу.

Я невольно вскрикнул. Меня охватил животный страх. Я вдруг всем телом ощутил: подо мной — бездна! Какое-то мгновенье даже не знал, что делать. Страх сковал ноги, и тело предательски ослабло.

А мох всё больше продавливался, и, казалось, он вот-вот разорвётся, и Ведьмино болото поглотит меня.

Я отчаянно рванулся вперёд и, не помня себя, пошёл, но не к краю болота, а в его центр. Главное было — уйти от коварной ловушки, где бесславная гибель уже дышала мне в лицо.

Наконец я набрёл на более твёрдый участок почти в середине болота, остановился и с облегчением перевёл дух. Пот застилал глаза, от недавно пережитой опасности тело безостановочно била нервная дрожь. Я бессильно повалился под единственную на болоте чахлую умирающую ель и впал в забытьё.

Через какое-то время пришёл в себя. За эти минуты небо успело затянуть тяжёлыми тучами, а на болото невесть откуда опустился небывало густой туман. От самого болота тоже поднимались слабо колыхающиеся струйки желтоватого пара.

В воздухе, и правда, появился какой-то давящий смрадный запах, о котором нередко поговаривали люди, когда речь заходила о Ведьмином болоте.

То, что случилось дальше, принято считать по науке за самовнушение, за навязчивые видения под давлением страха — может быть, но я так думаю, что это всё от действия паров или газов, которые из болота выходят.

Так вот. Лежу, значит, — опамятовался. Вдруг слышу: где-то за пеленой тумана — стоны! Протяжные, мучительные! И совсем близко, но не видать. У меня внутри всё словно оборвалось! Выходит, я не один на Ведьмином болоте! Насторожился. А сердце до того сильно стучит, что, кажется, слышно его шагов на десять. Вокруг туман сгустился, даже туч не видно. И так-то мне нехорошо на душе стало. А стоны опять. И уже ближе! И различаю, что не мужик, а женщина стонет. Страдальчески, глухо, словно из утробы стон идёт.

Вдруг вижу: далеко в тумане какая-то более плотная тень движется. Плавно так. Покачивается. И чувствую, что приближается. У меня даже волосы дыбом поднялись, как шерсть у зверя. И деваться — никуда не денешься! Приподнялся на локте, дыхание затаил и гляжу во все глаза. А тень всё ближе и ближе, будто плывёт по воздуху, и недобрым холодом от неё веет. Вокруг туман клубит, и стоны уже в нескольких местах слышатся, с хрипотцой. Жутко мне стало! Вот, думаю, влип! Прямо к нечистому в лапы!

Вижу, а это самое пятно, тень-то, в человека вроде как превращается. Вот руки вылезли, сверху голова с шеей расти начали... Гляжу — дева какая-то. Вся, словно из тумана, в одеждах белых, волосы светлые в беспорядке по плечам распущены. Идёт ко мне бесшумно, словно крадучись. Всё ближе, ближе. А я не то, что отползти — крикнуть уже от оцепенения не могу! И сердце — бум-бум-бум-бум...

И вдруг протягивает она ко мне длинную руку, не доходя шести шагов, и манит к себе иссохшим крючковатым пальцем. Я пытаюсь было вцепиться глубоко в мох, но какая-то неведомая сила срывает меня с места, поднимает на ноги, и я неуклюже иду за девой, как магнитом притянутый.

Могу побожиться: никогда ещё не встречал дев такого обличия. Это была воистину лесная дева. А, может, и сама хозяйка болота — ведьма.

Это, скажут, выдумки, сказки, но ведь я видел! Своими глазами видел!

Так вот, иду я за ней, как на привязи, а она всё меня пальцем манит... И глаза у неё такие нечеловеческие: одни белки! Выпучены, не мигают! И взгляд особенный: всасывающий, пожирающий!

И, страшно вспомнить, в довершение ко всему она... улыбалась! Это была дикая застывшая улыбка. Улыбка сумасшедшей, с хищно оскаленными зубами.

Она неестественно покачивала угловатой головой и отступала назад. В трясину. Неожиданно ведьма (я уже не сомневался, что это именно она) остановилась, опустила руку с продолжавшим манить пальцем, запрокинула голову и утробно засмеялась: хы-ы-хы-ы-хы-ы-хы-ы-ы-ы... Одновременно с этим одежда мягко соскользнула с её плеч и растворилась в тумане. Она предстала полностью обнажённой, и её тело было пугающе прекрасно.

Быстрым движением ведьма обхватила ладонями могучие груди, сильно сдавила их и зажмурилась от одного её ведомого наслаждения. Из крупных сосков тугой струёй выпрыснула тёмная жидкость, попала на мох и бурно зашипела, пуская густой жёлтый пар. Мох словно выгорел, на его месте зияло окно трясины. Ведьма злорадно рассмеялась, довольно поглаживая массивные груди, и вдруг — пропала, бесследно растворилась в неподвижном тумане.

Долгое время я находился в глубоком оцепенении и ничего не видел вокруг себя. А между тем тучи стали расходиться, и выглянувшее солнце подняло тяжёлую завесу тумана над болотом. Наконец, я стал узнавать предметы и вспомнил, что со мной было. Но всё это казалось дурным сном, хотя я всё так же находился на пресловутом болоте и стоял шагах в двадцати от чахнущей ели, невдалеке от рваной дыры трясины. Пустое ведро, о котором я совсем забыл и всё это время не вспоминал, было по-прежнему крепко

зажато в правой руке. Так, что я перестал чувствовать его деревянную ручку.

Глубоко и облегчённо вздохнув, я поспешил уйти с Ведьминого болота. Кто знает, какая ещё напасть может прицепиться.

Осторожно ступая по дрожащему хлипкому слою мха, я и не подозревал, как коварно Ведьмино болото, и что его хозяйка вовсе не намеревается меня выпустить. Да и само болото, я уверен, было живое и уже давно обозлилось оттого, что его жертва так долго не сдаётся.

Страшно было ощущать под ногами его затаённое алчущее дыхание. То и дело из-под мохового одеяла доносились приглушённые, навевающие ужас звуки.

Я уже дошёл до края болота и занёс было ногу, чтобы ступить на твёрдый берег, как кромка мха подо мной предательски продавилась и мгновенно ушла в чёрную гнилую трясину.

Я стал стремительно погружаться в вязкую пузырящуюся муть. Холодный сжимающий страх вновь мгновенно навалился на меня. Судорожно я метался ошалелым от паники взглядом по низкому берегу, пытаясь ухватиться за любую кочку, способную помочь. И вдруг увидел берёзку, которая, словно желая выручить, протягивала сверху свои ветви.

Чудом, в последнее мгновение я сумел ухватиться за протянутые «руки помощи»! Изо всех сил подался вперёд. Снизу будто десятки рук уцепились за ноги. Если бы вет-

ви не выдержали и обломились, я пропал! Болото урчало и чвокало, словно не желая отдавать уже по грудь затянутую жертву. Его грязные языки липко цеплялись за одежду, но всё же медленно сползали.

Я сделал ещё одно неимоверное усилие. Болото продолжало тянуть вниз, выпускало из себя сотни маленьких пузырьков, которые противно и зло лопались за спиной, но уже не могло справиться. Я хотел жить, я побеждал.

Измученный, до подмышек в скользкой болотной грязи, я, наконец, выкарабкался на берег, обхватил свою берёзку-спасительницу и... зарыдал. Словно что-то оборвалось внутри меня. Рассудок, казалось, ещё не верил, что я остался жив.

Продолжить путь к своей избушке я смог только через два часа — слишком велико было потрясение. Возвращался уже без ведра, оно-то и стало добычей Ведьминого болота.

С тех пор обхожу его стороной. Боюсь. Второй раз живым ни за что не отпустит. Клюкву только на хорошо знакомых болотах собираю. И таёжные законы изучать стал досконально. Потому как в тайге незнающему или глупому храбрецу очень легко сгинуть, порой и следов от человека не остаётся. Тайга — это огромная страна. Тайга — это тайна.

1991

ЗАБРОШЕННОЕ ЗИМОВЬЕ

Пожалуй, лет восемнадцать уже прошло, но как сейчас помню: собрался на охоту за утками. Не на Птичье озеро, как обычно, а решил куда-нибудь в другое место наведаться, где ещё ни разу не охотился.

Вышел часов в десять. Солнце уже поднялось и разогнало утренний туман, только лёгкая, едва заметная дымка висела над увалами и рассеивала ослабленные осенью солнечные лучи. Тайга просыпалась.

Я шагал по узкой петляющей тропинке и слушал голоса оживающего после ночи леса. Так незаметно дошёл до первой гривки. А когда поднялся на неё, решил пойти дальше, до озера у Лысого холма. Ещё столько же шёл. Устал, но не разочаровался. Уток там было — хоть дюжину охотников зови! А потом стреляй, не целясь, — не промахнёшься! Да и утки были отменные, разжиревшие, не гляди, что дикие.

Подстрелил восемь острохвостов* и повернул обратно. Иду, на душе весело, что охота так удачно прошла. Хорошо!

Но, видно, навсегда это заведено, что хорошего помаленьку. Недолго пришлось радоваться.

Оступился в сыром месте, взмахнул руками, пытаясь удержаться, и крепко впечатался в жидкую грязь. Сильно подвернул ногу. Острая боль мгновенно пронзила её. Я громко закричал и повалился набок. В мутной лужице увидел своё лицо, искорёженное гримасой невыносимой боли. Как только не потерял сознание!

Не знаю, сколько прошло минут, пока медленно, словно нехотя, боль стала понемногу затухать, но всё ещё сильно токала в ноге, простреливала в поясницу. Я непроизвольно вздрагивал телом и шумно, с громкими стонами дышал.

Попробовал пошевелить ногой. Она слабо слушалась меня. И я почти не чувствовал её. Вместо ноги была изнуряющая боль, которая то усиливалась, то ненадолго откатывала. Я всегда её плохо переносил; откинулся назад и сомкнул напряжённо дрожащие веки.

Прошло ещё некоторое время. Боль почти утихла. Затаилась. Но, боже мой! Как вспухла нога! Я чувствовал, насколько тесным стал для неё сапог. Что же делать?..

Я попытался собраться с мыслями.

До села добрая дюжина километров, нечего было и думать о том, чтобы идти туда. Просто не смогу. Поглядел на неподвижно лежащую ногу и досадно застонал. Как глупо!..

Наверно, серьёзное растяжение. Может, и связку какую порвал. Но что же делать?! Что делать? Что?..

Вдруг неожиданно вспомнил. Знакомые охотники однажды рассказывали, что левее Лысого холма есть небольшое озеро — Горемычное, а на его берегу старое зимовье, забытое, запущенное и никому уже со времён Второй мировой войны не принадлежащее.

Мне никогда ещё не доводилось там бывать, но сейчас, превозмогая боль, я сориентировался и прикинул, что нахожусь от него где-то в полукилометре. Это было спасение! Во мне зажглась надежда. Доползу!

И вот я медленно пополз, волоча распухшую ногу.

Опирался на руки, толкался здоровой ногой и рывком продвигался на полметра вперёд. Каждое движение вызывало новую, до темноты в глазах, сжимающую боль. Нога ныла, пот лился градом и впитывался в одежду. Мне приходилось то и дело сворачивать с прямого пути, чтобы обползти сырые низинки и болотца. Это ощутимо удлиняло и без этого трудный путь. Упругие ветки карликовой берёзы больно хлестали по лицу, расцарапывали кожу. Натруженные руки гудели, но я упорно полз вперёд. Лишь время от времени останавливался, чтобы переждать нарастающую боль.

Вконец измученный я выполз на берег хмурого озера с тёмной водой. «Уж точно — Горемычное», — подумалось мне. Огляделся.

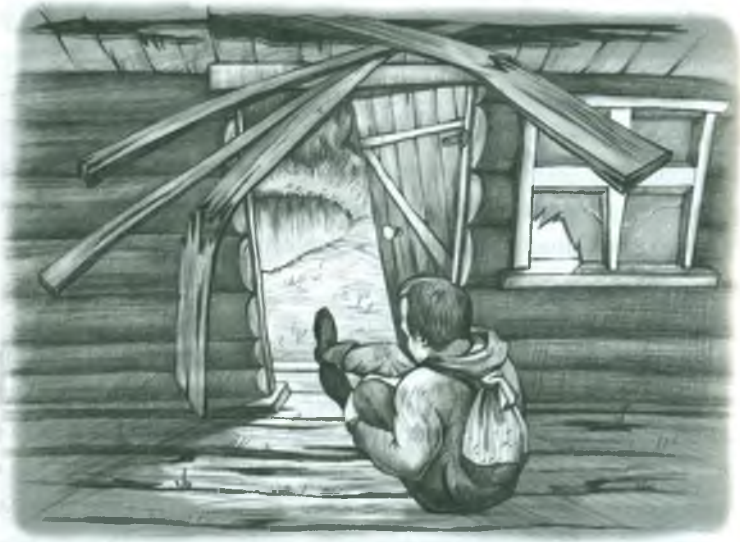
Со всех сторон озеро окружали плотной стеной ели и кряжистые кедры. А самый край берега обрамляли маленькие чахлые берёзки и кусты ольхи, низко склонившие над водой свои ветки.

Зимовье заметил не сразу. Оно находилось метрах в восьми от кромки воды и хоронилось в прибрежных кустах так, что едва можно было различить его очертания. До зимовья оставалось шагов сорок.

Стиснув зубы, пополз вперёд.

Дверь зимовья была приставлена толстой сучковатой палкой. Я оттолкнул её плечом, открыл сухо скрипящую на одной петле дверь и перевалился через низкий порог в затхлый полумрак помещения. При этом умудрился сильно удариться больной ногой и теперь сдавленно и надсадно шипел сквозь зубы. Машинально обхватив разбережённую ногу, изрыгал всевозможные проклятия, чтобы хоть как-то отвлечься от боли. Но она была до того сильной, что заполнила собой всё. Она была просто адской! И долгое время мне оставалось лишь ошалело, бездумно покачиваться из стороны в сторону, пытаясь совладать с ней.

Кое-как я этого добился и в облегчении лёг на пол. Расслабился, насколько это было возможно, закрыл исхлёстанные ветками, воспалённые глаза и замер. А так как был окончательно измотан, то скоро забылся и уснул, что явилось для меня огромным облегчением.



Спал долго. Ночью один раз просыпался, но только для того, чтобы сбросить с плеч рюкзак, который до онемения искривлял спину. Проснулся, когда стрелки часов приблизились к одиннадцати.

Первым делом решил оглядеть ногу. Понадобились большие усилия, чтобы осторожно стянуть отсыревший сапог. Отёчность не стала меньше, но уже можно было немного шевелить ногой, хотя это сопровождалось ноющей притуплённой болью. Обследование заняло немало времени, так как

снимать и надевать сапог было настоящей пыткой. Затем я стал осматривать внутренность зимовья.

Сильно провалившийся потолок был до того низким, что если бы я встал, то непременно стукнулся об него головой. Похоже, он держался только благодаря широкой поперечной доске, рассохшейся на две половины. И тресни она где-нибудь от натуги ещё раз, все хлипкие доски перекрытия обрушились бы на меня.

Пола, как такового, не было. Вчера, измотанный до предела, я не заметил этого и только сегодня разглядел, что пол замещали просто лежащие на выровненной земле доски. Старые, насквозь сырые, обросшие по краям бугристым мхом, они свободно сдвигались с места. Я поднял одну из них вверх. Обратная сторона была землистого цвета и насыщенно пахла лесной сыростью. Из набухших древесных волокон выступила мылкая на ощупь вода, и её редкие мутные капли нехотя покатились по доске. Они лениво отрывались от неё и шлёпались на ноздреватую землю, которая тут же впитывала их, а на месте падения некоторое время оставалось мокрое светлое пятнышко.

На обратной стороне доски мною было потревожено большое количество червей и ещё каких-то бесцветных плоских многоножек, которые теперь противно шевелились и влажно блестели на свету.

Я брезгливо выпустил доску из рук. Она облегчённо шлёпнулась на землю и заняла своё прежнее место. А мой взгляд перешёл с пола на единственное крохотное оконце.

Оно было перекошено и походило на параллелограмм. Тонкое стекло, помутневшее от времени, треснуло в нескольких местах. Нижний левый уголок был и вовсе без стекла, его заменяла тонкая, тусклая, с неровными краями слюдяная пластинка, плотно законопаченная у рамы кровянистого цвета мхом. Сверху окошко было полностью затянуто густыми пыльными тенётами с множеством иссохших насекомых на них.

Я решил выбраться из зимовья. Опираясь на шероховатые брёвна стен, еле-еле поднялся и с пригнутой головой стал медленно передвигаться к двери, пока не вышел наружу. Потревоженная нога вновь заболела.

Небо было пасмурным. Низкие тучи неторопливо переваливались с одного края неба на другой и прятались за пологим увалом.

Теперь, когда я выпрямился почти в полный рост, то был, чуть ли не с избушку высотой. Она глубоко просела в землю и при этом накренилась на один бок, а пологая крыша только самую малость возвышалась надо мной.

Зимовье и в самом деле было слишком дряхлым и давно заброшенным. Все брёвна до сердцевины трухлявые. Я неосторожно ткнул пальцем в одно из них, и палец полностью

погрузился в сырую набухшую мякоть гнилого дерева, без труда проломив тонкую верхнюю корочку. Невероятно! Каким чудом держатся эти немощные насквозь выболевшие стены!

Внутри бревна по моему пальцу кто-то прополз. Я брезгливо выдернул его и стёр с кожи оставшиеся частицы влажной рыжеватой трухи. Неспешно прошёл за угол зимовья. Это место облюбовали муравьи. Огромнейший муравьиный дом, больше метра высотой, обхватывал ветхий угол с обеих сторон, словно поддерживал его. Сам угол тоже был испещрён мудрёными ходами таёжных трудяг. Куча веточек и хвоинок была словно живая от их суетливого движения. «Неплохо устроились!»

Обойдя зимовье, вновь окинул его взглядом. Какое же оно жалкое и убогое! Махонькое. Метра два в ширину да около четырёх в длину, оно сиротливо приткнулось в безбрежной тайге на краю небольшого, мало кому известного озера.

Говорят, что раньше, в конце тридцатых годов, в нём обитал какой-то нелюдимый бродяга, невесть откуда взявшийся и живший только тем, чем тайга богата. Но неизвестно точно, когда он вдруг бесследно сгинул. Может быть, затянуло беднягу в трясину. С тех пор изредка сюда заглядывали охотники, чтобы переждать ненастную ночь, а вскоре, из-за боязливых суеверий, связанных с пропавшим нелюдимом, и вовсе зимовье было забыто, отчего и пришло в полное запустение.

Так, в размышлениях, прошло полчаса. Сильное чувство голода напомнило о том, что необходимо поесть. Прихромав внутрь зимовья, я опустился у рюкзака, вытащил из кармашка горсть размокших, пахнущих болотной влагой сухарей, торопливо съел их и слизал с ладони размякшие крошки. Есть захотелось ещё больше. Кисловатый промозглый запах помещения странным образом возбуждал аппетит. Я вспомнил об утках.

Вытащил одну и, припадая на больную ногу, снова вышел из зимовья. Отковылял в сторонку и стал торопливо отеребливать. Перья потрескивали, послушно выдёргивались под рукой и бесшумно оседали на землю пёстрыми парашютиками.

Теперь оставалось самое главное: разжечь костёр. К великой радости, шагах в десяти от меня чёрным корявым скелетом высилась засохшая ель. Дрова есть! Но прежде, чем дров было заготовлено достаточное количество, несколько раз пришлось проделать этот путь туда и обратно.

Когда я принёс последнюю охапку валежника, то уже с трудом держался на ногах. Повреждённая нога снова заставила сесть. Сердце от возобновившейся боли словно сжалось в комок, и кровь жарко запульсировала в кончиках пальцев.

Я переждал, пока боль успокоилась, взял нож, выпотрошил утку, разрезал на кусочки и осторожно продел их по

одному на заранее приготовленные заострённые палочки. Из бокового кармана куртки достал коробок спичек. К счастью, он был сухой. Выложил костёр «колодцем», вокруг воткнул в землю палочки с утиным мясом и поджёг бересту. Она вспыхнула и стала съёживаться от огня. Язычки пламени перебрались на тонкие ветки с засохшей смолой, расползлись яркими дрожащими пятнами по густым прядям лишайника-бородача, и вскоре костёр запылал, выбрасывая горячие и сухие всполохи огня.

Охваченные пламенем ветки шумно трещали, причудливо изгибались и лопались от пышущего жара. Горящая расплавленная смола тоненько свистела и пускала едкий сизоватый дымок. Он покалывал глаза и приятно щекотал нос терпким горьковатым запахом. Я любил этот запах! Запах таёжного костра. И с наслаждением вдыхал его.

Кусочки утятины вкусно запахли жареным. Я снова подбросил в костёр небольшой ворох валежин и стал наблюдать, как они раскаляются и уходят в огонь и дым, оставляя лишь тёплую кучку серого пепла.

Мясо было готово. Я вытащил палочки из земли, взял одну в руки и стал дуть на ещё шипящее от расплавленного жира мясо. Обжигая от голодного нетерпения пальцы, я отрывал маленькие кусочки и жадно ел, шумно и часто вдыхая ртом прохладный воздух.

Какой необыкновенно вкусной показалась мне эта утятина! Обжаренная на костре, крепко пахнущая дымком, а внутри ещё чуть сыроватая, она словно таяла во рту, и я жмурился от удовольствия.

Насытившись, я пересел под лиственницу на невысокий уступ берега и обмыл в озере руки. Вода была слегка тёплой. И ещё она показалась мне очень приятной, какой-то необыкновенно мягкой для кожи. Успокаивающей.

«А что, если я опущу в неё ногу? — подумалось сразу мне. — Хуже не будет».

Кривясь от боли, стянул сапог. Потом размотал портянку, закатал штаны и погрузил ногу по колено в воду. И надо же! Почти сразу боль успокоилась! Я изумлённо смотрел на воду. Как же я с самого начала не догадался так сделать! В ноге стало слегка покалывать. Видимо, вода проникла в кожные поры.

«А что, если попробовать пошевелить пальцами! — Пошевелил. — Двигаются!»

Я привалился спиной к шершавому стволу лиственницы и взглянул в небо. Оно успело к этому времени проясниться. Только одинокие облака степенно плыли по небосводу и чудно меняли свои очертания.

Уже вечерело. Солнце клонилось к юго-западу, и края облаков светились размытым жёлто-оранжевым светом. Они

опрокинуто отражались в спокойной воде Горемычного озера, которое тоже преобразилось под лучами солнца. На другом его конце, почти возле берега, шумно плеснула крупная рыба, и по зеркальной глади пошли частые бугристые круги, замысловато растягивая в разные стороны светлые пятна отражающихся облаков.

«Богатое, наверно, озеро, — подумал я. — Надо будет на днях прийти сюда с удочкой. — И тут же горько усмехнулся, едва поглядел на ногу и вспомнил своё плачевное нынешнее положение. — Калека, а туда же — рыбачить собрался!»

Долго ещё сидел. Провожая взглядом стремительные вечерние перелёты уток, слушал шорохи тайги да заунывное писклявое гудение комаров вокруг, которых отпугивал поддерживаемый мною костёр, и они пока не слишком досаждали.

Когда все ветки прогорели, и костёр стал затухать, солнце уже коснулось края далёкого косогора и побагровело. От озера потянуло холодком. Умирающий огонь перестал отгонять полчища комаров, и те с назойливым звоном начали виться вокруг меня, садиться на открытые части тела.

Я вынул ногу из воды и оглядел её. Отёк стал меньше. Я даже глазам не поверил. Чудо какое-то! И боль гораздо меньше. Вода-то в озере, видать, целительная. Я намочил портянку, намотал на ногу, поднялся и побрёл к зимовью.

Изнутри крепко притворил за собой дверь, Сел, вытянув ноги, навалился на неровную стену и больше никуда в тот вечер не выходил. Задумчиво глядел в окно, а когда стемнело, и тайга погрузилась во мрак, заснул.

На следующий день лил дождь, и мне пришлось безвылазно просидеть в избушке. Разжечь костёр не было никакой возможности, поэтому всю мою еду на сегодня составляли только те два кусочка утятины, которые остались со вчерашнего дня. Настроение было столь же пасмурным, как и погода. Лишь один раз я отважился выйти под холодный сентябрьский дождь, дойти до озера и заново намочить уже высохшую портянку, чтобы обмотать заживающую ногу.

Большим преимуществом в моём положении было то, что в такое промозглое ненастье я был сухим и находился в относительном тепле. Зимовье не пропускало отвесных капель дождя, а впитывало их в рыхлую замшелую крышу. Я неподвижно сидел на досках и чувствовал себя в этой пустой комнатке потерянным, когда глядел за окно на плотную завесу нудного ливня.

Всего я прожил в зимовье три дня. За это время боль в ноге окончательно отступила, отёка уже совсем не было, и я мог передвигаться, почти свободно переставляя ногу.

На четвёртый день я, наконец, вышел из зимовья и неторопливо направился в сторону села...

...Шесть лет спустя, я вновь, волею случая, пришёл к берегу Горемычного озера. То, что предстало моему взору, заставило сжаться сердце.

Зимовье развалилось.

Я с невольной горечью смотрел на его останки. Рухнувшие брёвна лежали в беспорядке. Некоторые, придавленные другими, были сплющены и переломились, другие выглядывали трухлявыми концами из-под горбатой и распавшейся на части крыши. Муравьиная «хижина», которая занимала раньше только угол зимовья, теперь разрослась вширь и укрывала значительную часть основания. Вся масса изгнивших брёвен ещё больше вдавилась в топкую землю и была почти незаметна, стоило отойти от неё метров на тридцать.

Чувство жалости, даже сострадания, и большой благодарности шевельнулось в моей душе. Да, я был благодарен этому зимовью и этому озеру. Благодарен за то, что они помогли мне в трудную минуту, когда я уже почти отчаялся от безысходности ситуации.

Не помню, каким образом, но я вдруг очутился на коленях и без ложного стыда склонился в долгом поклоне перед жалкими развалинами старого жилья. Тогда, шесть осеней назад, зимовье укрыло меня, покалеченного и обессиленного,

от дождливой непогоды, от холодных ночей, скромно, но радушно приютило в своих сиротливых стенах, и я чувствовал себя обязанным ему в благополучном возвращении домой.

И вот теперь, вновь очутившись на этом месте, я отдавал последнюю дань запоздалой человеческой благодарности осиротевшей без хозяина избушке, опустившись на колени. А передо мной грустно чернели бесформенные остатки заброшенного зимовья.

1991

ПОЕДИНОК

Нынешняя северная осень была необыкновенно милостива к людям. Весь сентябрь простоял тёплый, солнечный и сухой. За месяц пролилось лишь три дождя. Весёлый сентябрь! Быстро выплакался!

Вот и начало октября стояло тихим и безоблачным. Только холодные ночи да уставшее греть и всё ниже поднимающееся над горизонтом солнце напоминали, что скоро нагрянут большие перемены: небо затянет неповоротливыми мрачны-

ми тучами, светило надолго скроется, утонет в их пасмурной угрюмой стране, на землю ляжет снег, а тайга нарядится в искристый лёгкий иней — придёт косматая вьюжная зима.

А пока стояла чудесная погода. Прошёл листопад, и неба в тайге стало больше. Сквозь оголившиеся ветви деревьев сочилась последняя голубизна, взгляд глубже простирался в лес, всё вокруг становилось полупрозрачным, воздушным, просторным, и от этого дышалось легче.

Вечером тайга преображалась. Купаясь в лучах заходящего солнца, она была похожа на прекрасную девушку, плывущую в мягких волнах света, в прозрачной невесомой фате вечерней дымки.

В один из таких вечеров я сидел за самодельным столом в своей охотничьей избушке и, подперев голову рукой, глядел за окно на пожелтелую лужайку.

Воспоминания унесли меня далеко-далеко от действительности. События прошлого причудливо переплетались между собой, наслаивались друг на друга, и уже только короткие обрывки былого проносились в голове, увлекали всё дальше и дальше в пучину памяти. Я незаметно забылся и, видимо, задремал...

...Проснулся резко, как от толчка. Лицо было в обильном жарком поту. Я мучительно застонал.

«Опять этот сон...».

Тело пробивала сильная дрожь...

Никак мне душа одного зверя покоя не даёт. Во сне приходит и укоряет...

Виноват я перед ней. Страшно виноват...

Лет пять назад это было. Волков тогда много развелось. По ночам в деревни заходить стали, овец задирать.

Тайга в тот год скудная была, еды волкам не хватало, вот они и осмелели. Один охотник стаю волков издали видел, больше двадцати насчитал. Большая стая. Поэтому тогда и разрешили массовый отстрел и ловлю волков.

А у меня в окрестностях избушки тоже, что ни ночь, то вой. Зловещий вой, жуткий. Решил я капканы ставить. Поставил. Замаскировал так, что и век не найдёшь, если место забудешь.

На следующий день пошёл проверять.

Зима в тот год необычайно сильно запаздывала. Был уже самый конец ноября, а снега до сих пор толком не выпало. Иногда пролетали редкие снежинки, но и те скоро таяли на ветвях деревьев и ноздреватых мхах. Впрочем, было достаточно холодно, особенно ночами. Воздух был неподвижен и колюч, а небо днём представало взору пустым и блёклым. Промёрзлая земля при ходьбе глухо стучала под ногами.

Тихая заводь недалеко от моей избушки постепенно покрылась прозрачным толщиной в два пальца льдом, который приятно и звучно гремел, если я бросал камешек, а середина речки благодаря стремительному течению была ещё свободна от ледяной корки и темнела на фоне берегового припая.

Ещё издалека я увидел запомненное мною вчера место с капканом и разглядел, что палые листья и мох вокруг сильно разворочены. Я ускорил шаг. Когда подошёл ближе, то заметил много пятен замёрзшей крови, которые буро темнели то тут, то там. Капкан был захлопнут. Зубастыми стальными челюстями он что-то крепко сжимал. Я наклонился и с усилием раздвинул его створки.

Там находилась часть лапы.

Но это была не волчья лапа. Я внимательно осмотрел её. Обрубок величиной с ладонь взрослого человека был покрыт светлой рыжеватого оттенка шерстью. По всей видимости, лапа у зверя весьма мощная и широкая. Сильная лапа. Конец обрубка был обрамлён густыми жёсткими волосками, в которых прятались острые тускло блестящие когти.

Я уже догадался. Рысь! Это была лапа взрослой рыси. Когда я осмотрел место внимательнее, то увидел валяющийся рядом сломанный жёлтый клык и пришёл к выводу, что это не капкан перебил её лапу полностью, как я подумал вначале, а сама рысь долго боролась с жестокой ловушкой в попытке освободиться, отчаялась и... перегрызла себе лапу, намертво зажатую в зубьях капкана.

Я напряжённо вздохнул, покачал головой и пошёл дальше, к другому капкану. На душе было неспокойно. Я шёл и думал о рыси. Представлял, как она рычала, попав в капкан, как по-звериному плакала от боли, когда перегрызала

покалеченную лапу, потом торопливо хромала прочь, оставляя на земле кровавые следы, и спешила скрыться глубоко в тайге, чтобы там залечивать свою незаслуженную рану.

Так я шёл минут десять.

Неожиданно мне стало не по себе. Я испытал внезапное ощущение, будто кто-то смотрит мне в спину, и мгновенно развернулся. Повинуясь неприятному чувству, стал пристально вглядываться в ближние густые кусты ольхи. Силился понять, что же заставило меня интуитивно оборотиться?

Я ничего не увидел, хотя явно чувствовал на себе чей-то тяжёлый пристальный взгляд. Дыхание стало неровным. Я сдвинул брови и напряжённо сжал губы. На лбу выступила горячая испарина. Взгляд непроизвольно вперился в большой ветвистый куст ольхи. Я шарил по нему неморгающими глазами и пытался разглядеть непонятно что. Чувствовал, что недобрые токи в мозг идут именно оттуда.

Вдруг в голове у меня помутилось, и я в испуге отшатнулся назад. Сквозь беспорядочное переплетение ветвей на меня с ненавистью смотрели большие хищно блестящие глаза.

«Рысь!.. Та самая!..».

Не помня себя, я нервно вскинул ружьё и стал прицеливаться. Руки противно, предательски дрожали, мушка бегала в прицеле то слева направо, то вдруг ныряла вниз, и я никак не мог сосредоточиться.

Рысь зашипела и слегка двинулась с места.

— Уходи! — хрипло прошептал я ей.

В ответ раздалось глухое враждебное рычание.

— У-хо-ди — говорю!

«Р-р-р-р-р-р-р-ры-ы-ы...».

Преодолевая страх, я сделал шаг вперёд. Рычание за кустом прекратилось. Глаза исчезли. Но тишина была ещё напряжённее. Она сильнее сковывала движения, пугала своей неопределённостью. Я медленно пригнулся и снова стал всматриваться в плотную сеть ветвей — нет, глаз не было видно. Через некоторое время мне послышался хруст сухих веток шагах в пятидесяти от меня.

«Ушла».

Я облегчённо вздохнул, распрямился и сначала медленно, а потом, не выдержав, всё быстрее побежал обратно к избушке и даже не вспомнил о втором капкане.

Мне было жарко. Кожа на лице так и пылала. В глазах то и дело мелькали яркие разноцветные круги и застилали всё остальное, в груди словно полыхал огонь, выжигая её изнутри. Я непрестанно оборачивался и не выпускал из рук ружья, боялся, что рысь тайком следует за мной и только ждёт удобного момента, чтобы расправиться за изувеченную лапу.

Словно после изнурительной работы, я едва добрался до избушки, последними усилиями отворил дверь и сразу в изнеможении повалился на пол.

Тело было как чужое. Оно всё ныло, ноги гудели, в ушах стоял пронзительный монотонный звон. Взахлёб билось сердце, и горячая кровь с отчаянной силой, до нестерпимой боли колотилась в виски. Я ощущал, как пот тёплыми струйками стекал по всему телу. От сбивчивого жаркого дыхания пол около лица сразу стал влажным. Я чувствовал себя загнанной лошадью и очень медленно приходил в себя.

Когда, наконец, отдышался, то попытался встать. С трудом поднялся на дрожащие ноги, доковылял до кровати и тяжело бухнулся на неё.

Проснулся уже глубоким вечером. Часы показывали без четверти одиннадцать.

В комнате не было темно, от окон падал слабый белёсый свет, словно неподалёку кто-то включил фонарь. Я медленно приподнялся на кровати и перевёл заинтересованный взгляд за окно.

Было полнолуние. Небо предстало взору чистым-чистым, и крупные незамутнённые дымкой звёзды ярко сверкали на чёрном куполе ночи щедрой золотистой россыпью. Высокий косогор тёмным горбом выдавался на фоне величественного неба. Ледяная гладь заводи матовым пятном отражала свет полной луны, а по не замерзшей поверхности речки игриво сновали серебристые лунные зайчики. Ветра не было, и деревья стояли, словно окаменевшие фонтаны. Ещё более таинственной казалась тайга в полнолуние. Всё вокруг царственно молчало.

Я чувствовал себя более-менее отдохнувшим, но продолжал сидеть на кровати с прикрытыми глазами. Это бывает порой так приятно: замереть в уютной обволакивающей тишине, отрешиться от жизненных передряг и почувствовать полное умиротворение.

Вдруг в этой тишине я отчётливо услышал, как что-то мягко упало на крышу. Уж слишком явным был загадочный звук, чтобы не обратить на него внимание. Я насторожился.

И точно, вскоре удалось уловить, что по крыше кто-то осторожно, крадучись ходит. Волнение вновь вернулось ко мне. Передвижения наверху на какое-то время прекратились. Но вот снова шаги. По скату, шурша, прокатились мелкие земляные крошки. Догадка вспышкой ударила в голову. «Она»!

Тем временем незваный гость, стараясь не нашуметь, стал возиться у трубы. Я бесшумно встал с кровати и напряг слух. Вдруг из дымохода глухо и злобно, издалека, послышалось рычание. Меня будто окатило ледяной водой! Сомнений больше не оставалось: на крыше рысь!

Стараясь не выдать себя, я осторожно подобрал ружьё, которое до сих пор лежало на полу, и бесшумно подошёл к двери.

Сейчас мне всё стало ясно. Она не оставит меня в покое, пока я жив. Значит, выбирать не приходится. Это — поединок.

Я отворил дверь, пробрался через тёмные сени и вышел под небольшой навес.

Здесь было гораздо светлее, чем в избушке. Спокойный свет полнолуния мягко лился на землю. Луна находилась с другой стороны, и от избушки падал размытый по краям тёмный силуэт. Над крышей выдавалась прямоугольная тень трубы. А рядом замерла ещё одна... Она была прямо надо мной!

Конечно, рысь всё равно услышала, мой выход из дома, хотя я был предельно осторожен. Куда уж человеческому слуху тягаться со слухом и чутьём хищника. И теперь она уже ждала меня. От реальной близкой опасности по спине невольно пробежал холодок, и я судорожно переглотнул комок страха.

По силуэту было видно, что рысь приготовилась к прыжку и, видимо, выжидала, когда я выйду из-под навеса, чтобы броситься мне на спину и вцепиться зубами в шею. Но я в уме уже чётко рассчитал все свои действия и только собирался с духом, чтобы начать решающий поединок.

Уловив удачный, как мне показалось, момент, я резко выпрыгнул вперёд из-под навеса, мгновенно развернулся, вскинул ружьё и спустил сразу оба курка, прицелившись в уже летящую на меня в прыжке рысь.

Выстрелы на миг оглушили меня, и я только увидел падающего прямо на меня зверя с развороченным пулями горлом, из которого на лицо мне хлынула тёплая густая кровь.

Рысь тяжело ударилась мне в плечо. Я потерял равновесие и грохнулся на спину, машинально загораживаясь руками.

Хриплые, хлюпающие звуки, перемежающиеся при выдохе натужным свистом, вырывались из её горла, разорванного выстрелами. Она умирала.

Я неловко отполз на несколько шагов и поднялся на колени. Рысь смотрела на меня выпученными неподвижными глазами. Я ужаснулся её взгляду! В нём были ненависть, боль, отчаяние, горечь. В нём были презрение и жестокий укор мне. Её взгляд говорил: «Ты убил меня, человек! Ты убил меня!». Боже, как страшно было прочитать эти немые слова в остекленевших глазах! В них было что-то не совсем звериное, что-то... человеческое!

Это испугало меня ещё больше. Мне перестало хватать воздуха. Я жадно вдыхал его ртом, но его будто не было. Я застонал. А умирающее животное дёрнулось в судороге и замерло, продолжая глядеть безжалостным испепеляющим взглядом — взглядом проклятия.

Мох, где лежала мёртвая рысь, оттаял, глубоко пропитался кровью, и в воздухе теперь тоже стоял её тёплый насыщенный запах, какой бывает ещё на корале во время забоя оленей.

Я посмотрел на себя. Мокрые липкие пятна крови были на всей одежде, а кожу рук и лица уже стало стягивать застывающими на морозце сгустками. Тяжёлое чувство сдавило меня, и я поспешил покинуть свою жертву.

В первый раз я ощущал себя убийцей.

В ту же ночь мне приснился кошмар. Будто рысь ожила, вошла, хромая, в избушку и уставилась на меня своим немигающим взглядом, в котором навсегда застыл укор. Я гоню её прочь, а она по-человечески качает головой и указывает мне то на изуродованную лапу, то на развороченное пулями кровоточащее горло и с горькой злобой произносит: «Ты убил меня».

С той поры она время от времени приходит ко мне в зловещих снах, и я каждый раз испытываю мучительные угрызения совести и что-то ещё тяжёлое и до сих пор неосознаваемое мной до конца.

Я с того дня и капканы перестал ставить. Они на меня тоже мрачные воспоминания нагнетают.

Вот она — совесть человеческая... Кому-то всё это трын-трава, а мне всю душу наизнанку вывернула. И как же это я тогда! Может, какой-нибудь другой выход был? Не знаю... Вряд ли. Страшный тогда у нас с рысью поединок был. Беспощадный. Ведь оступись или промахнись я ненароком, и всё, считай, конец пришёл, перегрызла бы она мне горло.

Но вот ведь какое дело: даже убив рысь, я не победил её. Она победила меня. Мёртвая живого на колени поставила. На колени перед моей совестью.

Я проиграл этот поединок, потому что я человек.

1991

ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ

Михеич сидел на скамейке боком к печке и курил папиросу. Неторопливо втягивал в себя, прищуривая при этом обрякшие веки, и столь же медленно выпускал изо рта густой дым. Топил печку. В доме уже стало тепло. В топке слабо шуршали раскалённые головёшки, печка дотапливалась.

Не выпуская из плотно сжатых губ уже погасшую папиросу, старик снял телогрейку, взял длинную кочергу, открыл

дверцу печи и последний раз пошерудил остывающие угли, сдвинул их кучкой поближе к дымоходу. С минуту-другую выждал, встал, со стоном распрямил до хруста спину, крепко задвинул заслонку и снова с облегчением сел. Вгляделся подслеповатыми глазами в циферблат старых ходиков с одной гирькой-шишкой, качнул головой и стянул губы в трубочку. Было без четверти восемь.

— Где же нашу старуху-то носит, а, Вась? — обратился он к белому с рыжеватыми пятнами коту.

У Михеича всегда была эта странность: очень уж любил разговаривать с животными. Причём не в шутку и не походя, как многие, а именно серьёзно, как с человеком. То им новость какую расскажет, а то и за советом обратится.

Было дело. Один раз Михеич за сеном ехать собрался. Вышел коня запрягать в сани, сам разговаривает с ним между делом. А потом неожиданно возьми да и спроси:

— А что, Бурко, как ты думаешь, сёдни ехать али завтрева подождём? А? Сёдни?

А коню вдруг случись с чего-то головой замотать после этих слов, он и замотал. Да так сильно, что старик малость струхнул даже, стал обратно распрягать да приговаривать:

— И то, правда! Что ж это я тебя сразу-то не спросил. Подождём до завтрева. Не ровён час — пурга вдруг начнётся. Сгинем тогда оба.

Завёл коня обратно в стойло и сам зашёл в дом, разделся к удивлению старухи, сел за стол чай пить.

И что самое интересное, немного погодя, погода, в самом деле, начала быстро портиться, повалил густющий снег, завьюжило, загудело, и целых два дня пробушевала пурга, загнав всех по домам. Старики тоже безвылазно сидели в домике, Михеич тогда всё крестился да благодарил за провидение коня, всячески расхваливал перед старухой его ум...

— Где ж она запропала-то, а? — спросил он снова кота о старухе.

Васька только едва повёл ухом в сторону голоса. Разморённый жарой, он сидел подле самой печки с плотно закрытыми глазами и был похож на медитирующего китайца.

— Вась, ты чего молчишь, когда с тобой разговаривают?

Уши кота снова слабо шевельнулись.

— Васька, иди ко мне!

Та же реакция.

Старик догадливо усмехнулся и хитро блеснул глазами. Потом вскинул брови и вкрадчиво, нараспев проговорил:

— Ва-сень-ка-а, а я ведь против твоего молчанья-то волшебное сло-ово знаю!

Михеич выждал хорошую паузу и в полной тишине произнёс:

— Кыс-кс-кс-кс-кс!

Ваську как подменили! С громким обрадованным мяуканьем он мигом вспрыгнул Михеичу на колени, замурлыкал, захыркал, стал тереться усатой мордочкой в грудь старика, задрав трубой и распушив длинный хвост. Довольный своим «заклинанием» Михеич, широко улыбался и поглаживал мохнатого подлизу.

В это время приглушённо стукнула калитка, и по двору захрустели торопливые шаги.

— Ну, вот и дождались хозяйку, — заключил старик, ссаживая кота на пол.

Отворилась дверь, и спиной вперёд вошла, по-бабьи кряхтя и взохивая, старуха, вместе с ней в прихожую ворвался большой белёсый клуб морозного воздуха.

— А ты чего это впотьмах-то сидишь? Ни зги не видно! — быстро проговорила она, осторожно, но скоро поставив на стол ячейку яиц.

— Свет у нас отключили. По всей улице. Только ты ушла и — сразу.

— А-а, я и не заметила даже! Бежмя бежала, как ошалелая!

— Чего ж так?

— Чего! Крещенские ведь на дворе! Али забыл? Ресницы и те смерзаются. Шутка, что ли! А тут ещё покупку волоки. Ни закрыться толком, ни отворотиться.

— Н-нда. В лютый холод всякий молод. Хорошо, хоть дошла. Не околела по дороге.

— Типун тебе на язык! Всё бы подтрунивать!

— Хе!

— А накурил-то как, го-осподи! Хоть топор вешай!

— А мне-то чё. Хочешь, дак вешай. Хе!

— Дымит, дымит каждый день! Как паровоз!

— Ла-адно, не бубни! Кота напугаешь.

— Вас напугаешь. Как же!

— Ну во-от, зате-еяла. Мы тут, понимаешь, ждём её с Васькой, как христово яичко, а она, погляди-ка, как расшумелась.

У нас тут такая тишина была. Правда, Вась?.. Где ходила-то эко время?

— А вот за яичками-то как раз и ходила. Аль не видишь?

— На что? Чай не праздник. Крещенье-то уж прошло, сколь я знаю, а до Пасхи ещё, как до Москвы на телеге.

Старуха, наконец, отдышалась, разделась, села напротив, у стола. Поглядела на мужа и вздохнула:

— Ты у меня совсем со склерозом стал. Начисто всё забыл.

— А что такое?

— Что? Именины у тебя через четыре дни — вот что. А яйца я купила, чтобы постряпать чего-нибудь.

— И то... Я и, правда, забыл. Постой, это сколько ж мне стукнет?

— Семисят шесть. Ты же в десятом году родился.

— Н-нда-а, память с дыркой стала, — с сожалением протянул Михеич.

Старуха тут встала, ушла на кухню. Видимо, начала шарить по столу и тут же загремела в темноте, уронив что-то на пол. Старик заворчал.

— Тебя лешак там водит! Сама расшибёшься и посуду всю перебьёшь!

Старуха тихо, с досадой охала, потирала ушибленный локоть.

— Чем ворчать-то, помог бы лучше, ирод!

— Что-о такое!

— Керосинка у нас где?

— Под табуреткой у холодильника.

— Нету.

— Смотри лучше. Глаза-то разуй.

— Да нету, что я, слепая, что ли!

— Тогда за самим холодильником гляди… Нашла?

— Нашла, нашла.

— Неси сюды, спички у меня.

Зажгли лампу. Освещённая комната стала родной и уютной. Старуха ещё немного посуетилась, перекладывая покупку в холодильник, собрала на кухне уроненные миски да черепки от одного разбившегося-таки блюдца. Потом взяла

клубочек спряденной собачьей шерсти и спицы, села около печки и принялась надвязывать протёртые пятки стариковских тёплых носков.

Замолчали. Старик достал новую папиросу и с отрешённым видом курил, старуха же споро перебирала спицами, склонив голову над вязанием. На стене монотонно тюкали ходики, а Васька напряжённо затаился у дырки в подполье и караулил скребущуюся там мышь. Михеич о чём-то думал, пристально поглядывая иногда на жену.

— А что, голубушка, столько лет прожить, как я, это шибко много?

— Да уж никак не мало, — отозвалась та, не отрываясь от своего дела.

— Н-нда. Порядочно... Тело-то, и правда, вон как одрябло. Глянь.

— Чего мне глядеть-то. Я тебя, как облупленного, вдоль и поперёк знаю.

— Ишь ты, — добродушно выговорил Михеич и пососал папиросу.

Потом склонил голову набок и снова поглядел на жену.

— А ведь не плохо мы с тобой жили, а?

Старуха из-под очков глянула на старика и оттопырила нижнюю губу: к чему это, мол, он ведёт? Затем тихо рассмеялась и игриво ответила:

— Жили? Хи! Вот так и жили: спали врозь, а детки были!

— Тьфу! Я ж тебя серьёзно, в большом плане спрашиваю, а ты!

— На-ка, «большой план», носок померяй, ладно ли будет? — она протянула старику один носок, а сама вытащила рядом из угла прялку, которая досталась ещё от матери, села на неё и принялась прясть уже примотанную шерсть, ловко потребливая её одной рукой, а другой быстро-быстро прокручивая веретено. Оно прямо так и вертелось юлой и постепенно увеличивалось в объёме.

Михеич тем временем сидел с починенным носком на ноге. Так и сяк разглядывал его. Даже ногу на колено положил, чтобы лучше разглядеть. Помусолил с недоверием вязку между пальцами: надёжна ли?

Только потом удовлетворённо, с оттенком великодушия сказал:

— Хорошо сделано! Молодец!

Та в ответ лишь отчётливо хмыкнула.

Она не обиделась. Они вообще со стариком никогда серьёзно не ссорились. Оба любили пошутить, а если и поворчать, повздорить, то тоже с известной долей шутки. Потому, может быть, и прощали легко друг другу житейские мелочи.

А за столь долгую, пятьдесят два года, совместную жизнь, несмотря на видимую разность характеров, совсем

попритёрлись друг к другу, стали не разлей-вода — старики Липатниковы. Недаром же в народе говорят, что не по хорошу мил, а по милу хорош. Так было и у них.

Старуха между тем уже устала прясть, движения рук замедлились, от однообразной работы да ещё при недостатке света неудержимо стало клонить ко сну. Она вздохнула, заткнула веретено в шерсть и, обращаясь к прялке, погрозила пальцем и шутливо наказала:

— Я сейчас спать лягу, а ты без меня одна ночью пряди. К утру чтобы всё выпряла. Поняла? Вот так.

Она встала, от души зевнула и одновременно перекрестила от нечистой силы рот. За ней встал и старик, опять пытаясь с усилием распрямить спину и постанывая.

— Ох, мать, болит у меня спина-то, моченьки нет! Словно кто шильем в неё тычет.

— Ну-у, беда мне впрямь с тобой. Третий день уж маешься, а всё ничуть не лучше. Айда, ложись. Сейчас постелю, и ложись, а я водкой тебе хребтину-то натру.

— Ох, во! Самое дело! А то ж ведь так и стреляет в костях-то.

— Ну, давай, айда, имвалид! Не рассыпься, покуда дойдёшь.

— Да ты погодь, погодь маленько! Я даже шага ступить не могу — так насиделся. Ханроз проклятый! Чтоб ему пусто было!

— Сам виноват. Тебе чего врачиха сказала? Не курить. А ты? Вот погоди у меня, найду, где прячешь, весь твой табак в печке сожгу!

— Да ты постой, не серчай не по делу! Сама ведь знаешь, с войны костями стал маяться. Сколько болот да речушек вброд переходить пришлось.

— Помню-помню, всё помню. А и курить тоже не надо бы, бросать надо.

— Да куда уж мне бросать. Поздно. Как я без папиросочки, — грустно сказал старик и, наконец, с вздохом поковылял к кровати.

Спустя полчаса Михеич лежал под двумя стёганными одеялами уже разогретый, растёртый и тихо кряхтел, ожидая, когда подействует рюмочка «сорокаградусного обезболивающего», которую великодушно отмерила жена для приёма внутрь. Старуха тоже вскоре легла, потушив лампу, и повернулась к старику.

— Ну, чего? Легче?

— Да вроде как. Отпускает.

— Вот и слава Богу. Теперь спи. Да смотри, чтоб к именинам здоров был.

— М-м, и хвостик морковкой! — коротко в подушку хохотнул тот.

— Ну, это уж, если сможешь, — по-доброму усмехнулась в ответ старуха. Поворочалась на перине и сонно добавила:

— До завтрева. Спи.

— До завтрева, — глухо выдохнул Михеич из-под одеяла и замолчал.

Спустя некоторое время в доме Липатниковых уже все спали. Положив ладони под голову, еле слышно посапывала старуха, размеренно всхрапывал Михеич, а в ногах между ними свернулся в пушистый клубок и бесшумно спал-дремал кот Васька, прислушиваясь к ночным избяным шорохам. До завтрева.

1993

АНАСТАСИЯ

— Старух, а сёдни которо число будет?

— Двадцать седьмо, — донеслось сонно из-под одеяла.

— М-м... А месяц? Декабер?

— Ну...

— И то... А то я уж было запамятовал. Значит, де-кабер, — повторил он с расстановкой, вставая с кровати и надевая рубаху.

— Да ты куды вдруг ни свет ни заря? — недовольным голосом спросила, тоже поднимаясь, вконец разбуженная старуха.

— Как куды? Вчера всё было говорено.

— Ой, боже ж ты мой! — запричитала старуха, вспомнив минувший день и всплеснув руками. — Да, можа, ещё обойдётся всё, а-а? Перемогнётся она, поди? Ой, боженьки-и-и!

— Ишь ты, брат — перемогнётся! А то не слышала, что намедни ветинар сказал? Веди-ка, говорит, Михеич, её на убой. Молока вам от неё уже не видать, а так хоть мясо будет. Жалко, коли сама околеет, ей уж, мол, недолго осталось.

— Да, можа, ошибся ветинар-то твой, — горестно хныкала старуха, — можа, ещё выправится, милая! Го-осподи-и-и-и!

— Эк хватила! «Можа, ошибся». А то не думаешь, что наш ветинар — человек уважаемый, учёной. А ты его слова под сомнение ставишь, — наставительно рассудил старик.

— Да не ставлю я-а-а! Жалко мне её-о-о! — совсем заголосила старуха, закрыв лицо руками.

Многие в селе уже знали, что у Липатниковых горе — пропадает корова. Любимица. Ветеринар, приходивший к ним два дня назад, осмотрел корову, выслушал стариков о том, что она уже много дней толком не ест, покачал головой. Поставил неутешительный диагноз какой-то коровьей болезни и ушёл, посоветовал не дожидаться, пока та сама

не околеет через неделю. Да что и говорить, пожила уж коровушка своё.

Михеич оделся в серенькую фуфайку, нахлобучил на голову старенькую кроличью шапку-ушанку, надел на ноги широкие разношенные за прошлую зиму валенки.

Затем сел на табурет, для солидности помолчал, деловито натягивая на валенки калоши, потом только начал говорить.

— Ты вот со мной всю жизнь, почитай, прожила, да и старше меня на два года, а нисколько умней не стала, — сказал он с лёгким осуждением. — Все тебе, как дошколёнку, объяснять надо.

— И-и-и, у-умник выискался! Чего ж не министер-то тогда? В пинжаках бы ходил да ботинках. А то, вон, окромя валенок да калош ничегошеньки и нету.

— Ла-адно, не бубни, — по обыкновению протянул старик.

— Зачем калоши-то?

— Затем, что корову на убой поведу. Не на танцы же собираюсь

— Ну-у, и?

— Вот и «ну-у»! Мало ли что. Там же кровищи, наверное, будет. Вдруг наступлю ненароком — весь валенок пропитается. А так всё путём будет. Соображать надо, — рассудил он поучительно.

Старуха в ответ лишь махнула рукой: «Бог с тобой! Дело хозяйское».

А Михеич вышел во двор и побрёл к стайке. Подойдя, он отодвинул засов, отворил дверь и шагнул в полумрак стойла, с густым, застоявшимся запахом сена, молока, коровьего пота и навоза. Осмотрелся, привыкая к недостатку света.

Светлым пятном у противоположной бревенчатой стены стояла липатниковская корова. Смотрела неотрывно на вошедшего хозяина.

У неё было довольно странное для коровы имя. Назвала её старуха уж как-то совсем не по-коровьи, а просто в честь своей первой внучки: Анастасия. Местный пастух поначалу долго потешался, когда водил на выпас сельское стадо прочих Бурёнок, Чернушек, Белянок, Зорек. А тут на тебе — Анастасия! Прямо-таки королевское имечко!

— Настасьюшка!.. — ласково кликнул старик корову.

Та в ответ тихо и коротко мыкнула.

— Наста-асьюшка, жива! — обрадовано пролепетал Михеич.

Он подошёл к ней, погладил по спине. Легонько поцарапал между рогами и за ухом. Тяжело вздохнул.

— На-ка вот. Можа, поешь?

И он сунул ей пук мягкого душистого сена.

Анастасия вытянула к сену обвислую шею, понюхала, но есть не стала, глядя на старика грустными большими глазами.

— Эк ведь тебя поприжало, родимая! — жалостливо выговорил Михеич. Бормоча ласковые слова Анастасии, он неспешно вывел её за верёвку во двор. Старуха, уже одетая, стояла на крыльце.

— Да чего ж ты так быстро-то! Хоть бы чаю, что ли, попил. Я бы пока попрощевалась с ней, матушкой моей, — начала было старуха, но Михеич печально и сухо оборвал её:

— Нет. Уже пора вести. Я с Егором договорился. Ждёт, наверно.

Старуха всхлипнула, завыла, обнимая корову за шею. А Анастасия покорно стояла и мелко вздрагивала от мороза, выведенная из тёплого и влажного помещения стайки. Изредка шумно вбирала и выпускала из себя воздух, устало поводила головой по сторонам и смотрела вокруг болезненно блестящими глазами.

— Ну, ладно, будет — сочувственно проговорил старик и тронул старуху за плечо. Та сразу вдруг сжалась и смолкла.

— Я... пошёл.

Михеич осторожно потянул за верёвку, и Анастасия послушно поковыляла за ним. На улице старик оглянулся в сторону дома и тоскливо вздохнул, встретившись взглядом с заплаканными глазами жены.

— Пойдём, Настюш, — обратился он к корове, которая выжидающе и болезненно смотрела то на старика, то на

старуху, стоявшую в проёме ворот, то бесцельно вглядывалась в оснеженную даль за рекой и всё так же крупно дрожала, едва держась на обессиленных исхудавших ногах.

И они пошли.

Поскотина, где забивали совхозных животных, находилась на противоположной стороне села, почти у леса, и путь предстоял не близкий. Михеич специально договорился с конюхом Егором об этом месте, а не во дворе дома, чтобы лишний раз не ранить сердце жены.

Старик украдкой отирал наворачивающиеся на глаза слёзы, семенил впереди неровными шажками и виноватым голосом разговаривал с коровой. Словно пытался её как-то утешить.

— Что ж ты, Настасьюшка, разболелась-то так у нас? Старуха-то, вишь, как изводится по тебе — ревмя ревёт. Жалко.

— Му-у-у, — словно понимающе отвечала бредущая позади корова, тяжело дышала старику в спину и выпускала из ноздрей клубы пара.

— Вот и я говорю, пожила бы ещё годик-другой, а? И тебя ведь дюже жаль.

— Му-у-у, — монотонно вторила Анастасия.

— Ты только, Настенька, не бойся, — продолжал извиняться старик. — Егор — мужик хороший, сильный. Он у нас

конюх. Не бойся, не больно ударит, с одного раза порешит, не почуешь. Он умеет. Ты прости, что не я, а чужой. Я уж слабый для этого. Да и рука у меня на тебя не подымется.

Так и шли они. Старик тихо бормотал что-то, то и дело оборачиваясь к корове, а она понуро качала головой и осторожно переступала сзади, изредка помыкивая в ответ.

Дошли до поскотины. Егор уже ждал с длинным колуном в руках, опираясь на него, как на посох.

— Привет, батя!

— Здравствуй, Егор. Вот... привёл.

— Угу.

— Чтоб не маялась — сможешь?

— Угу. Плёвое дело! Видно, что слаба.

— Ты уж не оплошай, Егор, — жалобно попросил Михеич и тоскливо поглядел на корову.

А Анастасия, до настоящего времени безучастно, безропотно ковылявшая вслед за стариком, теперь насторожённо оглядывалась по сторонам, тревожно нюхала то воздух, то утоптанный снег, пахнущий кровью после недавнего забоя. Нервно и испуганно косила выпученными глазами на собравшуюся невдалеке большую свору бездомных одичавших собак — завсегдатаев кровавого пиршества, которые уже сейчас жадно глядели на неё, облизывались и нетерпеливо урчали.

Конюх и Михеич не успели заметить той перемены, которая произошла с Анастасией. Она вдруг вся напряглась и часто задышала, переступая копытами по хрустящему промёрзшему снегу. А когда Егор уже было взялся левой рукой за рог, чтобы для удобства заломить корове голову, она вдруг резко рванулась в сторону и (откуда только сила взялась!) опрометью поскакала прочь с поскотины, в сторону леса.

Разом ощетинившаяся свора собак тут же кинулась в погоню, стремглав промчавшись мимо ошарашенного Михеича и упавшего на снег Егора.

— Да что же это, а! — выдохнулось у старика. — Настенька! На-стя-а!

— Да не волнуйся, батя. Нагоним мы твою корову, надолго её никак не хватит. И что только с ней такое случилось?! Как вожжа под хвост попала! А ты говорил, помрёт, не сегодня, так завтра. Присядь пока здесь на бревно. Пойду, лошадь запрягу.

А собаки гнали и гнали Анастасию по лесной дороге. То и дело подскакивали и в хищном азарте хватали её зубами за ноги, за бока. Она спешно, на бегу отлягивалась от них, норовила боднуть самую нахальную и всё бежала из последних сил, с беспросветным отчаянием в глазах. Временами иступлённо взмыкивала на всю округу, перебивая ошалелый лай собак.

Надсадно, шумно дыша, Анастасия вразнобой, почти бессознательно перебирала ногами, с усилием отталкиваясь от накатанного снега дороги, держа на отлёте тощий жгут хвоста с метёлкой на конце. В налитых кровью глазах стоял ужас загнанного обречённого животного.

Вдруг корова натужно захрипела, её бешеные скачки резко замедлились, и она, рванувшись ещё раза два вперёд, остановилась, покачнулась и неловко рухнула на колени, мигом облепленная со всех сторон разъярёнными собаками. Упёршись рогами в снег, Анастасия ещё попыталась встать, но свора свалила её набок, иступлённо разрывая когтями и зубами измождённое тело коровы.

Она уже не мычала, а только утробно хрипела, беспорядочно вздрагивая ногами в предсмертной агонии. Из распоротого собаками брюха шумно вышел тёплый, пахнущий внутренностями воздух. Тело Анастасии в последний раз передёрнулось и замерло, обмякло. Вокруг слышалось только глухое ворчание и жадное чавканье собак.

Когда, отчаянно нахлёстывая лошадь, Егор и Михеич наконец подъезжали к месту звериного пиршества, Анастасию уже нельзя было узнать. Развороченная туша с торчащими наружу полуобглоданными рёбрами издали кровенела посреди дороги.

Завидев приближающиеся розвальни, собаки нехотя отпрянули в сторону, стараясь ухватить кусок мяса побольше.

Егор на ходу соскочил с розвальней, останавливая лошадь.

— Тпр-ру-у-у-у-у! Ах, чтоб вас р-разор-рвало! — и он, схватив с дороги, зло бросил в собак наугад «картофелину» мёрзлого конского помёта.

Собаки, недовольно рыча и скаля зубы, отбежали метров на десять и выжидающе сели на обочине дороги. Пристально глядели на людей и облизывали окровавленные морды с застывшими красными ледышками на усах.

— О-о-ой-ё-ёй! О-о-ой-ё-ёй! Ма-а-атушка-а-а! — безудержно в голос плакал старик над коровой. — Да что же это, а-а-а! Ох, вы, нехристи-и!.. Настенька-а-а!.. У-у-у, застрелю-у-у! — истошно, с надрывом ревел старик сквозь зубы и грозил иссохшим кулачком в сторону собак. — Застрелю-у-у-у! Все-ех!...

— Ну, Михеич, ну, не надо, — успокаивал его Егор. — Пропала уж теперь корова. Всё мясо попорчено. Поехали домой... Ничего не поделаешь...

Он попытался поднять Михеича с колен, который теперь совсем забыл о калошах и сильно испачкал штаны в густой крови.

— А ты-то чего медлил! — накинулся было старик на Егора. — Ох, горюшко-о-о! Вот оно горюшко-то где-е-е!

Егор, наконец, крякнув, сумел поднять обессиленного расстроенного старика на ноги, и тот, пошатываясь и спотыкаясь, побрёл к розвальням, опираясь на конюха и всё оглядываясь на Анастасию, которую Егор сообразил оттащить к краю дороги.

Обратно ехали молча. Егор мрачно курил да изредка понукал лошадь, щёлкая её по крупу вожжёй. Михеич сидел спиной к конюху, в горестном забытьи глядел на убегающую из-под скрипящих полозьев дорогу и не видел её, как не видел ни леса, ни первых промелькнувших окраинных домишек села. Перед его мысленным взором неподвижно стояли глаза Анастасии, полные безграничной усталостью, тоской и неизбывной болью, теперь стеклянно леденеющие в лесу на декабрьском морозе.

1993

МАЛЬЧИК И ЗВЁЗДЫ

(лирический этюд)

Брату Юрию посвящаю

Разверзлась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне — дна.
Михаил Ломоносов.

Это было нынешней зимой в Салехарде.

Я стоял поздно вечером на автобусной остановке на улице Маяковского и ждал нужного маршрута. Автобуса всё не

было. Невдалеке от меня переминались в молчаливом ожидании ещё человек восемнадцать. Они ёжились от холода и постукивали ногами по утоптанному снегу, чтобы отогреть озябшие ноги. Хмурые взгляды горожан были направлены вниз, и лишь иногда усталые взоры устремлялись в тёмный поём улицы в надежде увидеть долгожданный автобус.

И только один мальчик, лет, скорее всего, девяти, явно выделялся из толпы.

Мальчик смотрел в небо.

Он не жался от холода, как остальные, не расхаживал монотонно из стороны в сторону, а наоборот стоял и, запрокинув голову, заворожённо смотрел вверх. Как будто чего-то ждал оттуда.

Я заинтересовался и тоже взглянул туда

Далеко в небе мерцали яркие звёзды, похожие на крохотные льдинки. Была на редкость ясная ночь, и чёрный купол неба просто переливался от блеска этих холодных искринок. Звёзды, действительно, привораживали!

— Дяденька, — услышал вдруг я неподалёку детский голос и оторвал взгляд от звёзд.

Это мальчик подошёл к стоящему по соседству от меня мужчине. Тот рассеянно смотрел вперёд, курил и сначала не услышал, как к нему обратились.

— Дяденька!

— М-м, ты мне? Чего?

— Дяденька, скажите, пожалуйста, что это за звезда? — и он указал рукой в небо.

Мужчина скучно посмотрел на звёзды, пыхнул сигаретой, потом пожал плечами и буркнул:

— Не знаю.

— Извините, — с сожалением отозвался мальчик и отступил в сторону. Тихо вздохнул. Затем обернулся в надежде спросить ещё кого-нибудь и встретился взглядом со мной. Я едва заметно кивнул. Он обрадовано улыбнулся и подошёл ко мне.

— Вы — знаете?!

— Может быть. Тебе какую?

— Вон ту! Видите? — и вновь маленькая рука потянулась в небо.

Я наклонился к плечу мальчика и почти сразу увидел жёлтенькую звёздочку. Внутренне успокоился, узнав её.

— Это Арктур, — произнёс я, когда повернул голову к мальчику.

— Правда! — удивлённо и с радостью выдохнул он.

— Да.

— Арктур... Красивое название. А в каком он созвездии?

— Кажется, Волопас... Да, Волопас.

— Волопас? А что это значит?

— Это...хм-м... Это человек такой. Волов который пасёт. Быков таких больших. Есть ведь — свинопас. Вот и волопас тоже есть.

— А звезда, значит, Артур называется?

— Нет. Арктур.

— Арк-тур, Арк-тур... Спасибо! А какие ещё есть звёзды?

— Звёзд, сам видишь, тысячи.

— Нет, ну таких, чтобы запомнить можно было и найти.

— Ну, смотри, — и я стал перечислять, показывая, знакомые мне звёзды. — Вот это — Капелла*, а вот эта, что ниже — Альдебаран*. Вон Кастор и Поллукс — братья-близнецы.

— А я родился под знаком Близнецов!

— Ну вот, теперь знаешь, где находится твоё созвездие. А во-он там, видишь, яркая, часто переливающаяся звезда?

— Это — Сириус. Правда, красивая!

— Ага! Здорово!.. Я так люблю на звёзды смотреть! Всегда бы смотрел!

И он снова устремил взор в звёздное небо.

А я невольно с благодарностью вспомнил свою маму. Те далёкие северные ночи моего детства, когда мы гуляли с ней по затихшим улицам села Мужи. Она с вдохновением рассказывала об огромной таинственной стране созвездий, а я с затаённым дыханием слушал её и восторженно глядел на опрокинутую чашу блистающего ночного неба.

Неожиданно из темноты поперёк Млечного Пути ярко чиркнул зелёной — фосфорического света — полоской метеор.

— Звезда упала! — быстро проговорил мальчик и обернулся ко мне. — А расскажите ещё про звёзды. Пожалуйста.

— Ещё... Знаешь, какое созвездие считается самым красивым?

— Какое?

— Орион. Вот оно, правее и выше Сириуса. Нашёл?

—Ага! Я раньше уже замечал эти три звёздочки в один ряд. Как волшебная палочка.

— Это не палочка. Это — пояс Ориона. А чуть ниже кинжал...

— Подождите немного, — попросил вдруг мальчик, расстегнул школьный ранец, вытащил из него тетрадку и карандаш. — Я сейчас всё запишу.

Он пристроился поудобнее и замёрзшей рукой коряво и крупно вывел: «Арион».

— Эх ты, грамотей! «О» — первая буква.

Мальчик добродушно улыбнулся и поспешно намалевал поверх буквы «А» жирную «О». Потом записал под мою диктовку все остальные названия и положил всё обратно в ранец.

— Спасибо большое! Я теперь много звёзд знаю!

В это время на остановке оживлённо зашевелились. Сверкнул фарами приближающийся наконец-то автобус.

Люди нетерпеливо столпились у входа. Из открывшихся дверей дохнуло тёплым воздухом салона.

Поехали. Мальчик сел чуть впереди меня у окна и стал усиленно дышать на заиндевелое стекло, чтобы протаять толстый слой изморози.

А я задумался. Как всё-таки мы меняемся с возрастом. Мы редко смотрим в небо, на звёзды. Глядим либо вниз, либо вперёд, по горизонтали. Да и мыслим зачастую «горизонтально». Ходим, словно придавлены небом. Почему? Боимся?.. Странно, куда уходит всё то, что было в детстве?

Вот этот мальчик: он не боится неба, он любит звёзды, и не равнодушен к ним. Мне было даже неловко, когда паренёк искренне поблагодарил меня за то, что я рассказал ему о ночном небе.

Милый мальчик, это я должен быть благодарен. Ты помог вспомнить мне детство, когда я не был равнодушным к небу, когда мысли и мечты мои простирались не только вперёд, но и ввысь, к далёким мерцающим светилам.

Спасибо тебе! Спасибо за звёзды!

Вспомнив о мальчике, я поглядел в его сторону.

Но его уже не было.

1994

ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ!

Мужи. Первая половина июля. Благословенная пора белых ночей. Долгожданный подарок природы всей мохнатой и крылатой живности леса. Необъятен день! Вот уж, казалось бы, и вечер поздний, ложись да отдыхай после дневных забот, а ещё и солнце не село. Щекотит, дразнит усталые глаза, желанный сон напрочь гонит. Что ты будешь делать!

Лишь ближе к полночи, когда солнце зависает над самым горизонтом, понемногу замирает село, только влюблённые парочки да беззаботные стайки молодёжи неспешно бродят по притихшим улицам, затягивают песни.

Влажная простыня ночи не спеша размывает отчаянную синь северного неба, забеливает даль окоёма. А в вышине — ни звёздочки!

Морошковым краем, страной белых ночей называют в это время года мужевскую землю.

На этих кривых улочках, отвоевавших когда-то у тайги своё место под солнцем, на высоком берегу Оби, прошло

детство Толи Шебалина. Позади школа. Но каждый год приезжает он в Мужи на каникулы после сдачи экзаменов в университете. Так и в этот раз.

Шесть дней прошло, как сошёл Толя с «Метеора» на железный, гулко разносящий шаги дебаркадер. Хлебнул полной грудью родного воздуха и замер: так светло, радостно на сердце стало, что хоть кричи от переполняющего, невесть откуда взявшегося ощущения счастья. Но вместо этого губы лишь едва слышно прошептали:

— Дома!

Одним длинным-длинным днём прошла почти целая неделя как он у матери. Всё смешалось: разговоры, встречи, новости, и не вспомнишь, в какой день что было.

Ещё по приезду Толя пообещал своему одиннадцатилетнему брату Юре, что они обязательно пойдут на днях встречать восход солнца. У брата глаза загорелись. Каждый день, как вечер приблизится, спрашивает:

— Ну что, сегодня пойдём?

У Толи уже внутри неприятно покалывает: обещал ведь. А как пойдёшь? Тут крёстные в гости пришли, там ещё что-нибудь непредвиденное.

Но вот, наконец, выдался свободный вечер. Настало время сборов. Толя укладывает палатку, Юра собирает сумку с провизией. Мама с сестрой Ниной тут же в коридоре стоят,

наблюдают. Невдомёк им, что это парням дома не сидится.

— И охота вам комаров кормить, — по-доброму усмехается мама.

— А мы с собой мазь взяли, — откликается Юра. — Во! Целый тюбик.

Нина, средняя из детей по возрасту, не преминула после мамы вставить:

— Лучше бы в своей комнате прибрались, чем шататься непонятно где.

Юра ехидно парирует:

— Ты дома остаёшься? Вот и приберись.

Сестра выразительно хмыкает и демонстративно уходит в свою комнату.

— Ой, обиделась будто! — смеётся вдогонку младший. — На часы посмотри. Десять уже. Какая приборка, на ночь-то глядя!

Толя незаметно поглядывает на маму, ожидая, как она отреагирует на словесную перепалку детей, и, успокаивая, говорит:

— Послезавтра всё равно суббота. Тогда полностью и приберёмся.

— Всё! Готово! — пыхтя, докладывает Юра и натягивает на ноги разношенные кроссовки.

Братья выходят во двор. Негромко разговаривая, идут на северную окраину Мужей. Вышли специально попозже, чтобы людей на улице меньше было. Село-то наполовину зырянское. А зыряне — народ любопытный. Всё интересно им: и кто куда пошёл, и о чём соседи повздорили, и чья собака у их калитки ненароком уснула. Каждую мелочь приметят. Любого хоть завтра в разведчики записывай!

Людей, и, правда, было не много. То ли день душный был, то ли телефильм интересный показывают. Вышли Шебалины на окраину. Впереди на длинном деревянном шесте полосатый «чулок» аэропорта неподвижно висит. Тихо. Сей-

час вдоль взлётно-посадочной полосы до небольшого пляжа на берегу Югана, а там чуть влево и палатку ставить.

Огненный шар солнца медленно заваливается к северу. В щедрой россыпи предзакатных лучей скрадываются очертания лесистого косогора, едва различима в золотистой дымке соседняя крохотная, в пятнадцать домов, деревенька Ханты-Мужи. Воздух за день прогрелся, дышит ласкающим теплом и травными запахами, даже комаров ещё нет, прячутся в сырых низинах.

Пока братья устанавливают палатку, разводят небольшой костерок и готовят в котелке немудрящую похлёбку из пакетного супа с тушёнкой — уже полночь. Солнце зависло над дальним тальниковым островом и упрямо не хочет садиться. Струит рассеянный свет на раздольный пойменный луг, оттеняет румянцем жидкое серебро витиеватых проток и реки.

— Искупаемся, пока комаров нет, — предлагает Толя.

— Давай, — охотно соглашается младший.

Шебалины наперегонки сбрасывают всю одежду и вприпрыжку бегут к Югану.

Статное, мужающее тело Толи первым взбуравливает спокойную гладь. Более осторожно, взохивая от неожиданной прохлады воды, заходит на глубину Юра. Братья

неторопливо плывут на недалёкий противоположный берег. Хоть и не глубок Юган, но даже в жаркие дни вода прогревается лишь на метр, поэтому оба стараются держаться на поверхности, их голые тела почти не скрываются под водой.

— Уф-ф, хорошо! — отдувается Толя, выбираясь на пологий илистый берег.

— Ничего себе — хорошо! Дубак такой! В воде и то теплее.

— Не беда, скоро обсохнем. Смотри-ка, кони.

К Югану неторопливо брёл небольшой табун.

— Наверно, на водопой, — предположил Юра.

— Может быть. А может, на тот берег переплывут.

Мимо братьев равнодушно, полностью в своих думах прошли четверо лошадей. Остановились у кромки Югана, лениво оглянулись, вразнобой фыркнули и вошли в воду. Поплыли. Вслед за ними с таким же несложным обрядом последовали трое остальных. Издалека их рыжая лоснящаяся от воды шерсть казалась медно-огненной, словно само солнце спряталось в шкуре на покатых боках.

— Я испугался: думал, перевернут наш котелок, — признался младший.

— Да нет. Что они, глупые, на костёр идти, — рассудил другой брат. — Поплыли обратно. Там уже, наверно, всё сварилось.

— Ага. А то всё равно что-то холодновато. И комары появились.

Братья отошли берегом вверх по течению, чтобы не плыть в тёмной, взбаламученной животными воде, и погрузились в прохладные струи реки.

— Ты чего отстал? — окликнул Толя брата, отряхаясь на мелководье от капель.

Юра неловко выбирается на берег и неуклюже ковыляет к костру. Тяжело дышит.

— Ногу поранил? — тревожится старший.

— Нет, свело. Едва доплыл. Хорошо, что у берега почти.

Юра пытается говорить со спокойной уверенностью, но глаза выдают недавний испуг.

— Иди, давай, в палатку, оботрись и одевайся быстрее, — велит Толя и хмурится. — А то не утонул, так простудишься.

— Маме только не говори! — отзывается из палатки Юра.

— Ладно, сами грамотные.

Толя одевается сам, потом берёт ложку, зачерпывает из котелка, дует и, обжигаясь, пробует:

— А ничего супец! Наваристый!

— Ты мне-то хоть оставь! — шутливо возмущается младший из палатки, энергично и шумно растираясь полотенцем.

— Сколько ложек? — с ответным юморком отзывается Толя, и братья смеются.

— Юр, слышишь?

— Что?

— Мазь прихвати. Одолели кровососы! Аж в ложку с супом липнут.

— Ага.

Брат выбирается из палатки с тюбиком в руке.

— Ой, а солнце-то село! Прозевали!

— То-очно, — с сожалением тянет старший.

На севере почти в полнеба яро алеет заря. Там, где село солнце, далёким костром пышет горизонт. Такое ощущение, словно огненный шар совсем рядом, просто укрылся за тальниковым островом и, если подняться на холм, то непременно увидишь его приплюснутый, набирающий силы для нового дня круг.

Насытившись, братья спешат под брезент палатки от полчищ комаров.

— Сколько сейчас?

— Час ночи, — отвечает Толя, взглянув на часы.

— Здорово, да?!

— Что?

— Солнце встаёт в один день, а заходит уже на следующий!

— Да-а. Будто и не заходит вовсе.

— В Салехарде, наверно, так и есть. Там же Полярный круг?

— Ага. На Ямале вообще здорово. Кругом только тундра, небо и солнце! Там сейчас и белых ночей нет. Всё день и день.

— Классно! Не верится даже.

Незаметно проходит час. Золотисто-румяное зарево неторопливо передвигается с одного конца острова на другой.

— Гляди, — замечает Юра, — луна.

Толя внимательно шарит глазами по светлому безоблачному небу.

И правда, над Обью, одинокая, словно никому не нужная, блёкло розовеет слегка выщербленная с правого бока луна. Попранная владычица неба полярных ночей. С каждой минутой всё ярче раскаляется кромка земли и неба.

— Как будто все Шурышкары* горят! — восклицает Юра с восхищением.

— С Салехардом вместе, — заворожённо следом добавляет Толя.

Братья выбираются из палатки.

— Сейчас взойдёт, — с ожиданием в голосе произносит старший брат и неотрывно глядит на зарю.

— Ух ты! — выдыхает, обернувшись, Юра. — А в Мужах-то уже взошло!

Толя оборачивается и согласно кивает:

— Точно! На холме потому что.

В первых лучах розовеют притихшие дома. В окнах играет рассвет. Бело-сине-красный флаг на здании районной администрации кажется розово-лазурно-алым.

С минуту Шебалины любуются родным селом и снова устремляются взглядом на север. Почти в то же мгновение тёплый луч ярко ударяет в глаза и заставляет прищуриться. Поначалу крохотный, уголёк светила всё больше раскаляется, растёт, превращается в полусферу и наконец, оранжево-красным шаром отрывается от горизонта, заливает светом всю низину Оби.

— Здравствуй, солнце! — радостно и шутливо выкрикивает Юра и машет рукой.

Толя весело смотрит на брата и тоже вскидывает руку:

— Привет!

Потом дурашливо прибавляет:

— А мы тут тебя всю ночь ждали! Целый час и двадцать минут!

Братья раздувают присмиревший огонь и кипятят воду для чая. Воспрянувший костёр отгоняет комаров, и они мельтешащей кучей-облачком недовольно отлетают в сторону. От горчащего запаха дыма оживают вдруг тёмные валуны дремлющих коней, они лениво поднимают головы и долго нюхают воздух.

На природе время течёт незаметно и быстро. Уже раннее утро. Солнце всё выше поднимается в небо и начинает припекать. По Оби пляшет целая россыпь золотых зайчиков.

Пора обратно в село. Шебалины заливают тлеющие угли костра, собирают палатку и отправляются домой.

Поднимаясь на первый пригорок Мужей, Толя и Юра ещё раз обернулись назад. Зелёный луг плотно затянулся жёлтыми облаками. Это один за другим раскрылись, встречая новый день, пушистые солнышки одуванчиков.

Над ещё спящими улицами, над речной низиной зычно разнеслось беззаботное ржание коней. И, словно приветствие, отозвался ему со стороны Киевата* долгий раскатистый гудок теплохода.

1995

ДОРОГА ПОД ЗВЁЗДАМИ

Михаил возвращался домой в эту субботу поздно. Он работал истопником в мужевской поселковой бане. Были Рождественские морозы, и топить приходилось — будь здоров. Вроде бы вот, совсем недавно подбросил добрую порцию угля, а в стенку, за которой парилка, уже снова долбят могучими кулаками разгорячённые мужики и повелительно просят:

— Земляк, поддай-ка ещё малость!

Михаил встаёт, открывает дверцу и ловко направляет в ненасытную пасть топки ещё две лопаты чёрного угольного крошева. Снова садится и молчаливо слушает привычный шумок кочегарки: жадное гудение огня, а за стеной довольное кряхтение и разнобойный хлёст веников по голым распаренным телам. К одиннадцати часам парилка, наконец, затихает. Рабочий день окончен.

После тепла кочегарки январский мороз чувствуется не сразу, хотя, шутка ли, тридцать девять градусов ниже ноля. Одежда щедро накопила сухой жар. Но лицо гораздо быстрее становится беззащитным на холоде, а до дома ещё половина пути. Михаил пересёк улицу Комсомольскую, и с пригорка уже видны два родных окна правее метеостанции. Улица безлюдна. Он спускается с холма, одиноко идёт мимо колбасного цеха и старой совхозной конюшни. Потом останавливается и сквозь заиндевелые смерзающиеся ресницы смотрит в небо.

В этой части Мужей фонарей почти нет, и звёзды, густо рассыпанные по небосводу, кажутся намного ярче и ближе. Их незамутнённый мерцающий свет настолько пронзителен, что невольно покалывает глаза. Долго вглядывается Михаил в ночные искры неба, пока мороз не начинает настойчиво жалить лицо и пробираться ледяными руками под полушубок. Надо идти.

Под унтами хрустко продавливается мёрзлый рассыпающийся снег. Михаил с внезапным удивлением отмечает, как давно он не обращал внимания на звёзды, он даже забыл, что их так много. Что их так невообразимо много! Искрящийся под ногами снег вдруг напоминает ему далёкие лучистые точки в бездонной выси.

— Кругом звёзды! Везде звёзды! — зачарованно бормочет под нос Михаил и вдруг, спохватившись, начинает торопливо растирать побелевшие, ничего не чувствующие нос и щёки. Про мороз забывать нельзя.

Михаил поднимается мимо детской музыкальной школы на следующий холм и попадает на родную улицу Юганскую. Это северо-западная окраина Мужей. Впереди виден его дом. Топится печь, из трубы отвесно поднимается сизый дым. В его густых клубах кутается и мутно просвечивает холодная полная луна. Михаил замечает, что у калитки двора кто-то стоит. Это Галина, его жена. Он улыбается, разглядев, что Галя надела его огромный овчинный тулуп, который смотрится на ней чересчур мешковато, и ускоряет шаг. Галина с нетерпеливым ожиданием смотрит в его сторону и притопывает ногами от холода.

— Привет, Галюш!

— Ой, Миша, что ж так долго-то, а?

— Работа, — разводит руками Михаил. — Всем кости прогреть захотелось.

— Час уже жду. Обратно зайду да снова выйду. Уж и детей уложила, и ужин готов, и печь дотапливается, — с женской заботой в голосе проговорила она.

— Ну что ж, вот и пришёл, — устало ответил Михаил, приобнял жену и отворил калитку. Они прошли через двор, поднялись на крылечко и зашли в сени.

— Погоди, Миш, не заходи, — вполголоса произнесла Галина и плотно закрыла входную дверь.

— А что? — невольно поинтересовался Михаил и остановился.

— Одно дело есть. Только слушай! — она вплотную приблизилась к мужу и, собираясь с мыслями, поджала нижнюю губу.

— Ну?

— Верка-то Конева опять меня сегодня прилюдно обхамила. В магазине, — жалостливо начала Галина.

— Да? Я же ведь толковал с её мужем, чтоб малость приструнил свою жену.

— С Колькой-то? Да они ж два сапога — пара. Он тебе в лицо одно скажет, а за глаза посмеётся и пакость какую-нибудь сделает.

— Так чего же ты в магазине-то сама за себя постоять не могла? Сказала бы ей пару ласковых.

Галина всхлипнула:

— Попробовала. Сегодня.

— И что?

— Что? Верка буркнула со злостью что-то нечленораздельное и выскочила из магазина.

— Ну, вот видишь, — успокоительно рассудил Михаил.

— Что «вот видишь»?! Думаешь — всё? Как же! Я из магазина вышла, иду, а она сзади подбежала, видать, караулила, и ногой-то в сумку как пнёт! Вот, говорит, тебе, сучка кочегарская! Знай своё место! Да не распускай поганый язык! — Галина зарыдала. — Две банки разбила. Стерва!

— Ну, это уж слишком! — громко возмутился Михаил. — Вот баба!

— Я и говорю... Ой, ладно, замёрзла, давай в дом зайдём. Ещё что-то скажу.

Они вошли и тихо, чтобы не разбудить детей, разделись.

— Я вот ещё что сказать хотела, — шёпотом продолжила Галина. — Хватит всё это безнаказанно терпеть! Надо им отомстить.

— Это как же? — со смешливым недоверием поинтересовался Михаил.

— А вот как. Садись, ешь, а я тебе рассказывать буду. Ты мне только сначала скажи: в бане завтра твоя смена или нет?

— Нет. Я отдыхаю.

— Вот и хорошо. Ешь. Тут вот водочки немного есть, выпей, — Галина достала из-под стола початую бутылку.

— Ого! — приятно удивился Михаил. — Чего это вдруг любезность такая?

— Ладно. Когда расскажу — поймёшь. Пока слушай.

— Угу, — Михаил налил и опрокинул внутрь первую стопку.

— Салехард по радио на завтра буран обещает. Это значит, и у нас дня два-три непогода будет, что нос не высуни.

— Ну?

— Да. А говорю я вот к чему. У тебя завтра выходной, днём отоспишься, а этой ночью одно дело надо будет сделать, пока тихо, да небо ясное. Сделаешь, значит, поквитаемся с Коневыми.

— А что за дело-то среди ночи? — недоумённо спросил Михаил.

— Наш покос, помнится, рядом с коневским, — продолжала Галина. — Вы ведь с Николаем вместе этим летом косили.

— Да.

— Помнишь, которые их стога?

— Помню, — кивнул Михаил и пропустил вторую стопку.

— Вот и хорошо. Надо будет сейчас съездить туда и один из их стогов, который от наших подальше, перевезти сюда на сеновал. А свои на потом сэкономим. У нас как раз сено на исходе. Жерди спрячешь куда-нибудь, чтобы не торчали. Не забудь. Пока буран будет, все следы напрочь заметёт, как

будто того стога и не было. А ехать надо сейчас. Среди ночи тебя никто не увидит. Все уже спят.

Михаил выпил третью стопку и задумчиво потёр лоб.

— Холодно же, Галя. Путь-то не близкий.

— А я для того и водочки тебе дала, чтобы грело внутри, — убедительно оправдалась Галина, хотя втайне про себя держала и другую мысль, что, выпив, муж скорее согласится на такое отнюдь неблаговидное дело, нежели трезвый.

— Ладно, — без большой охоты ответил Михаил. — Пойду собираться.

— Конечно, миленький! — засуетилась Галина. — Я уже и приготовила всё: носки, свитер, штаны ватные. Тулуп оденешь. А вернёшься, ещё водочки налью, — ворковала она. — И ещё кое-что будет, — игриво проронила она, зазывно глядя в глаза мужу, и словно бы случайно поправила кофточку на пышной груди.

Михаил обстоятельно одевался и в то же время с нескрываемым вожделением посматривал на ладную фигурку жены.

— Добро! Я не забуду, — весело ответил он и вышел запрягать лошадь, поцеловав напоследок Галю.

В Мужах все крепко спали, когда Михаил выезжал на противоположную сторону села к Оби. Даже собаки ленились гавкать на проезжающие мимо их дворов пустые поскри-

пывающие сани. Мороз. Намного приятнее лежать в тёплой конуре на мягкой подстилке, уткнув нос в густую шерсть.

По накатанному зимнику лошадь легко устремилась вперёд, увозя в заснеженные пойменные просторы одинокого ездока. Копыта гулко ударялись в утрамбованный снег, и Михаил, усталый после рабочего дня, полудремал под их монотонный перестук. Впереди над тальниками безучастно светила луна, окружённая зеленоватым нимбом, и ещё невероятней сияли вокруг застывшие капельки звёзд. Через купол неба, словно зеркальное отражение дороги, протянулся широкой лентой Млечный Путь.

Полчаса спустя Михаил доехал до покоса Коневых и, свернув с дороги, добрался до самого дальнего стога. Остановил лошадь, встал с саней и огляделся. Голая промороженная равнина луга с редкими холмиками стогов невольно будила в душе неприятную робость и тоскливое чувство оторванности от мира.

Перед тем как начать перемётывать сено в сани, Михаил достал из кармана начатую пачку «Астры», спички и осторожно прикурил. Табак необычно быстро и приятно ударил в голову. «Потому что выпил», — объясняя сам себе, подумал Михаил и непроизвольно снова взглянул в звёздную высь.

— Красота-то!.. — прошептал он восхищённо. — Сколько ж вас наплодилось, а! — пролепетал непослушными замерзающими губами Михаил.

Казалось, что лучистый свет звёзд так и тянется к его глазам, и что они сами вот-вот сорвутся с неба на землю, прямо в ладони Михаила.

Под ногами что-то зашуршало, и Михаил нехотя оторвал взгляд от неба. По снегу воровато, крадучись змеился тонкий ручеёк позёмки, трусливо скользнул мимо и растворился в темноте. Первый вестник грядущей непогоды. Любуясь звёздами, Михаил не заметил тот момент, когда проснулся ветер. Ещё одна струйка позёмки скоро прошелестела мимо. Следом в лицо по-хозяйски ударил студёный порыв ветра. Михаил тревожно нахмурился, спешно взял вилы и принялся за работу. Надо было торопиться. В Мужах каждый знает, как капризна и неустойчива северная погода.

Вилы в руках Михаила безостановочно описывали в воздухе дуги от стога к саням. В морозном безмолвии были слышны лишь мягкий, покорный шелест сена и шумное, разгорячённое дыхание. Стог заметно таял, из него всё больше выпирали деревянные рёбра жердей.

А со стороны озера Сой-Беда неслышно, с привычным северным коварством надвигалась плотная завеса бурана, застилая непроглядной пеленой беззащитные звёзды. Если бы Михаил хотя бы на мгновение оторвался от дела, он бы немедленно погнал лошадь обратно, увидев, как неожиданно помутнела луна, а в пустом небе пока ещё обманчиво невинно порхают редкие, нечаянные снежинки. Он бы непременно,

всем нутром почувствовал ту неповторимо жуткую мертвенную тишь, которая бывает непосредственно перед началом разгула стихии, когда ветер вдруг внезапно умирает.

Буря застала Михаила врасплох. Резкий сильный толчок ветра чуть не опрокинул его в снег. Он ошалело поглядел вокруг. С каждой секундой всё гуще и гуще начинал идти снег. Первый шквал пронёсся дальше, но всё же ветер оставался сильным и быстро обмораживал уязвимые части лица. Луна окончательно исчезла, только едва уловимое свечение пробивалось сквозь плотные снежные вихри. Навалилась мгла.

Михаилу стало страшно. Наскоро закрепив сено на санях, он вскарабкался наверх и взволнованным окриком тронул лошадь с места. К дороге! Как можно скорее!

Голые жерди так и остались торчать посреди поля. Михаил досадно оглянулся на них и только сжал зубы. Не до них. Лошадь тяжело потащила гружёные сани, пока, наконец, не ступила на твёрдую дорогу. Михаил нетерпеливо хлестнул её вожжой и в тот же момент почувствовал, что, вспотев после торопливой работы, постепенно начинает замерзать. «Скорей бы доехать!» — с нехорошей тревогой подумал он и уткнулся головой в пахучее сено. Ветер усиливался.

Нескончаемо тянулось время. Изредка Михаил поднимал голову и смотрел на густо облепленную снегом лошадь. Потом его мысли неудержимо унеслись к дому. Он необыкновенно ярко представил в уме тёплую комнату, родные голоса детей

и жены. Вот он сидит у топящейся печки, и обволакивающий жар приятно проникает в него, добирается до каждой клеточки усталого тела. Вскипел чайник, и Михаил словно воочию видит, как Галина наливает ему в любимую чашку густой ароматный чай, заваренный с сушёной малиной. Напиток слегка обжигает горло и разливается внутри успокаивающей истомой. Как тепло! В мягкой кровати тело совсем расслабляется, и он неудержимо засыпает, засыпает...

По ночной дороге одинокая лошадь везёт сено.

В тумане нахлынувших грёз Михаил даже не уловил, как на самом деле незаметно уснул, нечаянно навалившись на правую сторону вожжей. Волей случая это произошло как раз на том месте, где находилось ответвление дороги в сторону Восяхово*. Всегда послушная своему хозяину лошадь, почувствовав натянутую вожжу, безропотно свернула вправо и продолжала идти, но уже не к дому. Потом вожжа ослабла.

Буран бушевал. Михаил беспомощно спал, обезоружив себя перед стихией, пронизывающий холод властно сковывал его в своих беспощадных тисках. А лошадь всё шла и шла, пока чувствовала под ногами заметённую дорогу. Вдруг она по грудь провалилась в рыхлый снег и натужно рванулась вперёд.

От резкого толчка закоченелое безвольное тело шумно соскользнуло с сена и тяжело рухнуло в сугроб. Животное, почувствовав отсутствие хозяина, выбралось обратно на твёрдый участок и в нерешительности остановилось.

Поблизости, не переставая, шумел и трещал под тугим напором ветра угрюмый невидимый лес, а по широкой излучине Горной Оби бесконечно змеились хвосты позёмки, и хороводили снежные вихри, бесследно заметая неподвижное остывающее тело Михаила.

1995

В ГОСТЯХ У НАЙДЫ

Светлой памяти моего деда Михаила Фёдоровича и бабушки Йулионии Клавдиевны Черкашиных посвящаю

В Мужах зимы лютые, долгие. Приполярье. Сразу за селом укутанная, заметённая частыми буранами тайга. Последние отроги. А дальше, ближе к Салехарду — тундра с

редкими чахлыми островками леса. Бескрайняя, оснеженная на долгие семь, а то и восемь месяцев. Тягуче медленно, как капля смолы из обломленной ветки кедра, выдавится из-за южного горизонта усталое декабрьское солнце, нехотя лизнёт верхушки елей за Мужами, и снова мимолётные сумерки да бесконечная ночь.

Не зря говорят, что детская память цепкая, яркая. Всё, что связано у Виктора с Мужами, с малолетством, отрочеством, до мелочей помнится. То одно, то другое вдруг всплывёт из-за громады дней светлым облачком, добрым эхом откликнется. Постучит в окно ветер с родины, зашелестит по заиндевелому стеклу сухим, колким снегом и всколыхнёт, расцветит полярным сиянием воспоминания в душе, грустные и весёлые, но каждое дорого и мило его сердцу. Так и в этот вечер.

Старый дом на две половины, в котором жила Витина семья, и по сей день молчаливо встречает восход солнца да умудрённо глядит помутневшими стёклами окон на заречный тальниковый берег Оби. Лишь тихими ночами скупо перешёптывается с двумя вековыми елями, что стоят рядом, у самой дороги, с незапамятных времён.

Этот дом и две ели — молчаливые свидетели Витиного детства, и наверняка помнят все его шалости и приключения. А особенно этот забавный случай.

Сколько ж ему тогда было? Лет пять, не больше. Несмышлёный любопытный проказник.

Стояли жуткие Рождественские морозы. Даже старики головами качали, мол, лет двадцать пять такого не было. Витя третий день сидел дома. «Алёнушку» — детский сад, в который он ходил, закрыли из-за холодов. Он сам видел, как шляпки гвоздей на полу в его группе покрылись толстым слоем инея.

Пока мама на работе, Витя в первой половине дома, у бабушки с дедушкой. Баба Юля посадит мальчугана рядышком на диван, возьмёт в руки азбуку и буквам учит. Ей в этом умении равных нет. Всю жизнь баба Юля в системе народного образования проработала. Сначала учителем начальных классов была, затем заведующей в детских садах. И всё на тюменском севере, где дополнительных проблем всегда непочатый край. От заготовки дров для школы до вечной нехватки канцелярских принадлежностей и книг.

Сегодня баба Юля с внуком до буквы «пэ» добрались. Бабушка показывает на рисунок и спрашивает:

— Что на этой картинке нарисовано?

— Дерево, — говорит Витя, — срубленное.

Баба Юля по-доброму усмехнётся, помолчит и иначе спросит:

— А как называется то, что от срубленного дерева остаётся?

Внук напряжённо моргает и вдруг, вспомнив, счастливо выпаливает:

— Пень!

— Правильно! А теперь послушай, как я говорить буду: п-ень, п-алка, п-арус, п-апа... Что я для тебя голосом выделила?

— Пы.

— Так. Только правильно надо говорить «пэ».

— Пэ!

— Молодец. Вот, это ещё одна буква. Запомнил, какая она?

— Да.

— На табуретку похожа. Правда?

— Ага.

Баба Юля берёт карандаш и что-то пишет на бумаге, аккуратно выводя печатные буквы. Потом протягивает листок Вите.

— Ну-ка, догадайся, что я тут написала? Все буквы в слове тебе уже знакомы.

Мальчик старательно хмурит брови и шевелит губами.

— Пэ-е-лэ-и-кэ-а-нэ.

— Ну, что получилось?

Витя неуверенно говорит:

— Пеликан... А что это?

— Это птица такая, — поясняет баба Юля, — далеко на юге живёт. У неё, представляешь, под клювом большой мешок из своей же кожи есть.

— А зачем?

— Птица пеликан крупной рыбой питается. Поймает в море рыбину, летит и в этом мешке её к берегу несёт, чтобы самой съесть или птенцов своих накормить.

Тут шумно хлопает тяжёлая входная дверь. Внук резво спрыгивает с дивана и мчится в коридор.

— Деда Миша пришё-ол! — возвещает он не то бабушке, не то самому себе.

Дедушка осторожно отстраняет мальца в сторону и, кряхтя, говорит:

— Погоди-погоди, стрекулист. Застудишься ещё от меня. Дай разденусь.

А Вите не терпится, вертится около него, в ладоши хлопает, подпрыгивает.

Деда Миша наоборот серьёзный, в милиции работает, но внуку, как и бабушка, благоволит. Вот сейчас разденется, пригладит поседевшие волосы и наклонится к его уху, приобнимет да чмокнет в щёку. А потом все вместе обедать сядут.

После еды опять развлечение. Дед отогреется, наденет валенки, полушубок, шапку-ушанку, а бабе Юле велит постреленка потеплее одеть. Это они пойдут Найду кормить.

Найда в конуре у поленницы живёт. Северная лайка. Конуру ей дедушка сам сколотил. Прочную, просторную, даже с крышей двухскатной. Будто домик. Над входом брезенто-

вый лоскут прибил, чтобы ветром снег внутрь не намело, на дно ворох сена положил для тепла.

Деда Миша берёт кастрюлю с отходами и выходит с внуком во двор. Заслышав стук двери и шаги, Найда сначала высовывает из конуры морду, потом резво выскакивает на притоптанный снег и радостно виляет хвостом. Витя каждый раз с интересом наблюдает, как она жадно, с громким чавканьем ест, поджав уши и хвост. На морозе у неё мелко-мелко дрожат ноги.

— Деда, а Найде разве не холодно?

Тот в раздумье слегка пожимает плечами.

— Может, и холодно, стужа вон какая.

— А вдруг она замёрзнет? — пугается Витя. — Давай её к нам домой запустим.

— Не бойся, — успокаивает дед. — У неё, видишь, какая шерсть густая. Да и не на снегу ведь голом она спит, а в конуре.

— Всё равно жалко.

— Не переживай. Её теперь ещё и еда греть будет. Сытый меньше мёрзнет. Пойдём в дом.

Найда уже всё съела и, довольная, залезла обратно в домик. Витя садится на корточки и с любопытством приподнимает брезент перед входом в конуру. Заглядывает внутрь. Найда лежит тугим калачиком, морду глубоко в шерсть упрятала, только уши насторожённо торчат. «Наверно, всё-

таки мёрзнет», — думает он и невольно с сочувствием вздыхает.

— Пошли, — окликает дед с крыльца, и мальчик, поднимаясь, нехотя семенит за ним в дом.

Старинные семейные часы немецкого производства девятнадцатого века размеренно и басисто бьют четыре раза...

Считать Витю тоже баба Юля научила. Правда, пока только до двадцати. Как пойдут с ней куда-нибудь, она непременно считать просит, чтобы внуку не скучно было просто так идти, а то она сама в силу возраста и полноты медленно ходит.

— Иди, — скажет, — вперёд, сосчитай, сколько в этом заборе палочек?

А ему и радость. Шагает, ручонкой до каждой палочки дотрагивается. Потом обратно, и кричит на бегу, пока не забыл:

— Двенадцать раз по двадцать и ещё восемь!

Бабушка улыбнётся и головой кивнёт. Дойдут до конца забора, она и скажет:

— Молодец, правильно сосчитал. Я проверила, — и другое сосчитать просит...

В этот вечерний час в старом доме уютно и тихо. Баба Юля растопила печь и готовит ужин. Витя предоставлен самому себе.

На улице уже совсем темно, когда приходит мама. Сын радостно бежит ей навстречу. Соскучился. Мама с бабушкой

обстоятельно обмениваются новостями дня, затем баба Юля застёгивает внуку шубку, и Витя с мамой идут через улицу в другую половину дома.

Мама у Вити в школе работает, учителем, и поэтому почти сразу садится за подготовку конспектов к завтрашним урокам. Хоть и холода, но самые старшие классы учатся. Витя уже понимает, что подготовить урок — дело далеко не простое, и по-своему помогает маме: старается не мешать. Сядет у заиндевелого окошка и оттаивает пальцем дырочку, чтобы на фонари да на звёзды смотреть.

Так и в этот день было. Правда, не слишком ему на месте сиделось. Всё Найду вспоминал: как она там, на морозе? Не вытерпел, подбежал к маме.

— Мама, можно я пока к бабе Юле схожу?

— Что? — мама задумчиво оторвалась от учебника и записей. — А, сходи, конечно. Давай, я тебя одену.

Со стучащимся сердцем мальчик выскочил за дверь и бегом к конуре Найды. Лоскут приподнял и в проём голову засунул. А там темно — хоть глаз выколи!

— Найда! — негромко позвал Витя. — Ты живая? Где ты тут?

В глубине что-то зашевелилось, и влажный тёплый язык лизнул мальчугана по щеке.

— Так ты живая! — обрадовался он, протиснулся в конуру и стал ласково гладить её по шерсти. Найда ещё раз лизнула его в лицо и тихонько приветливо заскулила.

— А я думал, ты замёрзла. Собачка моя! Хорошая моя! — с жалостью в голосе проговорил Витя и обнял Найду за шею.

В конуре было не холодно. Пахло прелым сеном и ещё тем особым запахом, каким пахнут собаки. Витя для удобства прилёг и продолжал гладить Найду. Темнота и густой аромат сена, видимо, разморили его, он подтянул ноги к туловищу и незаметно задремал.

Что произошло дальше, Вите стало известно только потом из рассказов мамы и бабушки.

В восемь часов вечера мама закончила писать конспекты и пошла к бабушке с дедушкой.

— Ну, вот и я. За сынулей пришла, — возвестила она с порога.

Баба Юля и дед недоумённо переглянулись.

— А он не у тебя разве?

— Нет, — насторожилась мама, — часа два прошло, как к вам отпросился.

— Господи! — испуганно всплеснула руками бабушка. — Он и не заходил к нам вовсе!

— Как? Совсем?!

— Совсем! — баба Юля в растерянности опустилась на стул. — Где же он?

— Не знаю, — упавшим голосом обронила мама и кинулась к телефону. — Михеевым позвоню, может, к Алёшке

убежал, заигрался. Господи, в такую погоду! И, главное, не спросясь! К вам, сказал, пойдёт. Вот негодник!

Мама вздрагивающей рукой набрала трёхзначный номер. Во время недолгого разговора она всё больше хмурилась, нервно покусывала губы и от волнения теребила пальцами телефонный провод. Потом растерянно положила трубку на рычаг.

— Его там нет!

— Боже мой! Витенька! Замёрз уж, поди, где! — стала всхлипывать бабушка.

А дед наоборот: сразу весь собрался и говорит:

— Вот как сделаем. Ты, Людмила, всех соседей оббеги, поспрашивай, может быть, видел его кто, а потом обратно. Если никто не знает, я на работу оперативному дежурному буду звонить. Только побыстрее давай. А ты, Юля, пока Людмила ходит, своих знакомых обзвони. Чупровых не забудь. Может, Витя Анну или Андрея Михайловича встретил да к ним зашёл. Они бы, конечно, позвонили, но вдруг не сообразили или замешкались, забыли.

Баба Юля сразу к телефону села, а мама бегом по соседям, только калитка хлопнула.

От этого звука Витя и проснулся. И никак понять не может, где он. Слышит, что сопит кто-то рядом. Снял рукавичку, дотронулся — мягкое что-то, словно волосы. Тут и вспомнил, что он в конуре у Найды. Вылез наружу и в дом.

Баба Юля как увидела внука, так и застыла с телефонной трубкой в руке. А дед нахмурился, поднялся со стула и строго спрашивает:

— Ты где был, варнак? Откуда в сене весь?

Витя поглядел на себя — и, правда, вся шубка и валенки в былинках сена. Испугался, что ругать будут, виновато заговорит, а сам уже хнычет:

— В конуре-е... У На-а-айды...

— В конуре? — опешил деда Миша. — Какой леший тебя туда понёс? Мать уже с ног сбилась! Ищет по всем Мужам!

— Я её от моро-оза гре-ел... Я больше не бу-уду...

— Не будет он! Перестань реветь!.. Нет, это ж надо! В конуру залез!... Не реви! Распустил нюни, мужик!

— Ну, ладно, — вступилась бабушка. Чего на внука накинулся? Он уж сам перепугался, дрожит вон весь. Нашёлся, и слава богу!.. Айда, Витюша, я тебя раздену, и спать пойдёшь. Хорошо?

Витя только торопливо кивает в ответ головой и трёт кулачком глаза. Дед умолкает и лишь недовольно провожает их взглядом. Потом изумлённо восклицает:

— Ну на-адо же! В конуру забрался! Тут и с милицией не сразу найдёшь!

Баба Юля ведёт Витю в комнату, расправляет постель, укладывает внука и поправляет одеяло.

— Спи. Спокойной ночи.

Уже в полудрёме Витя услышал, что пришла мама, и затих. Прислушался.

У неё грустный, чуть сдавленный голос.

— Нет... никто не видел...Всех обошла.

— Да дома он, — негромко ответил деда Миша. — Успокойся. Спит уже. Ты только ушла, и он в двери. Гулеван.

— Да где ж он был столько времени?

Дед сперва нарочно, для большего эффекта, выдерживает паузу, а затем, озорливо и смеясь, отвечает:

— Где был?! Нипочём не догадаешься! В конуре он был! У Найды нашей! От холода, понимаешь, её спасал, чтоб не замёрзла!

— Ох, горе мне с ним! — устало, но с облегчением выдохнула мама и присела за стол.

— Не переживай. Что ж за горе! Хороший парень растёт. А то, что глаз да глаз за ним нужен, так все мальцы такие. И не то ещё бывает.

Мама согласно улыбнулась.

— Ну, ладно. Пусть у вас спит. Я тоже пойду, а то набегалась по морозу, самой бы под одеяло скорей.

Она ещё раз вздохнула, встала, пожелала приятного сна родителям и ушла.

А когда легли дедушка с бабушкой, Витя уже крепко спал. И снилась ему Найда.

1995

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

(автобиографическое эссе)

Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.

Сергей Есенин.

О память сердца, ты сильней
Рассудка памяти печальной.

Константин Батюшков.

Григорич, как позволял подчинённым без малейшего намёка на панибратство называть себя начальник штаба временного отдела Михаил Андреев, подошёл как-то после ужина ко мне и, будто что-то вспоминая, натужно-глуховатым, но высоким голосом спросил:

— Ты у меня сколько дней в отгуле не был?

Я изумился и прежде, чем ответить, даже успел про себя подумать: «Здорово же, наверное, сегодня Григорич набегался по службе, если такой вопрос вычудил».

— Четыре недели и два дня. Итого — месяц.

— То есть как? — опешил начальник штаба. — Постой-постой, мы ведь как раз месяц как в Чечню заехали. Так-нет?

— Так.

— И что?

— Вот, с самого начала командировки я в отгулах и не был, — внутренне радуясь удачному розыгрышу, ответил я.

Григорич пристально посмотрел мне в глаза, пытаясь засечь обман или подвох, но тут же сообразив, что я ничуть не кривлю душой, широко усмехнулся в густые рыжие усы, протяжно хмыкнул и с теплотой в голосе прогнусавил:

— А ведь точно, дружище. Как же я тебя из виду-то упустил?..

Я молча пожал плечами, а сердце вдруг забилось чаще от неожиданных, искренне, по-отцовски, заботливых слов Григорича. Капитан тем временем дружески положил мне ладонь на плечо и, деловито размышляя, продолжил:

— Тогда, значит, так: завтра с девяти утра сутки можешь отдыхать... Как же я тебя из виду-то упустил? —после паузы с рассеянным видом снова повторил он и, словно очнувшись от внутренних мыслей, уже уверенно закончил:

— Как-то я всё машинально тебя в графики дежурств проставлял. Сегодня вот тоже два определил: с двадцати одного до часу и с пяти до девяти.

— Знаю. Видел.

— Знаешь! А что молчал-то всё это время? — с притворным недовольством вскинулся он. — Все уже по два раза в суточных отгулах были!

Ладно, на вечернее дежурство я тебя кем-нибудь заменю, а утреннее всё-таки надо будет отдежурить. Ну, бывай! Да почаще мне глаза мозоль, боец, — уже смеясь, торопливо проговорил Григорич, направляясь в дежурную часть, — а то вдруг опять забуду отгул дать!

Вечером я сидел в сумрачном кубрике, топил «буржуйку» и с добродушной усмешкой вспоминал последние слова

начальника штаба. Легко сказать: «отдыхай». И рад бы заснуть, да где там. За минувший месяц организм настолько привык к жёсткому графику боевых дежурств, что попробуй-ка переломи его по-новому устоявшийся режим, даже во благо ему. Нетушки! Только будешь без толку ворочаться на нарах, да, как совёнок, таращить хронически воспалённые нервным недосыпом глаза в облупленный потолок, слушая ночную перестрелку.

Нет. Лучше уж так — сидеть при скудном свете вздрагивающего от сырого сквозняка лепестка свечи, придвинувшись почти вплотную к жаркой «буржуйке», цедить из оббитой кружки сквозь зубы крепкий сладкий и, как на охоте, слегка припахивающий дымком чай и вспоминать мирную жизнь, далёкую милую родину.

Как всё-таки безмерно обостряются чувства человека к родным краям в условиях каждодневных боёв! Нигде я ещё не вспоминал с такой желанной тоской, с таким сладостным щемлением в сердце любимые места, как на войне. Сколько раз я ловил себя на том, что с зудящим, физически ощущаемым нетерпением жадно жду любого более-менее свободного часа, минуты, чтобы где-нибудь, совершенно неважно где, — в доте у бойницы в период тревожного ночного затишья, в послеобеденное время короткого перекура, в малый промежуток между сном и усталой мимолётной дрёмой после

очередной боевой смены, когда лишь одиночные выстрелы да сухие хлопки сигнальных и осветительных ракет нарушают нервозную тишину разрушенного опального города — можно будет молниеносно унестись мыслями к незабвенным местам материнской приобской земли. Земли, на которой родился и вырос, которая не только наяву, но и вот так, в воображении, радушно примет меня как самого дорогого и искренне желанного. И можно будет без всякой робости, на правах сына пройтись воспоминаниями по любым заветным уголкам, что с трепетом и святостью бережёт память, именуя одним простым словом: родное.

Доходило до того, что из-за постоянного недостатка свободного времени приходилось заранее «планировать», «заказывать» в уме, куда при ближайшей возможности устремить бег воспоминаний.

Выглядело это примерно так: «Завтра у меня дежурство в доте днём. Значит, четыре часа относительно спокойного времени. Без стрельбы, без напряжённого ожидания боевой тревоги. Значит, можно неторопливо «прогуляться» по Тильтимской дороге до Харьегана,* а то и до Кузьёля. А сегодня перед сном малость «поброжу» в окрестностях Бурудана, поем лесной жимолости».

От такого мечтательного «планирования», мысленного ожидания уже загодя приятно щекотало в груди, и как будто

в бездонную пропасть радостно ухало сердце, напрочь забыв обо всех невзгодах и неизбывных трудностях военной жизни.

Так и сейчас, неподвижно сидя возле раскалённой стальной печурки, я без труда перенёсся мыслями в родное приполярное село Мужи.

Вот я в походной одежде, с небольшим рюкзаком за плечами вышел из дома, стремительно спустился с высокого, в двенадцать ступеней, крутого крыльца и направился налево через узкий двор вдоль нашего трёхподъездного дома. В два шага перемахнул через деревянный короб теплотрассы, наискосок пересёк гулкую лежнёвку* и споро пошёл по дощатому, местами вконец расхристанному, белёсо-серому узкому тротуару в сторону звероводческой фермы.

Навстречу мне проглядывает между домами лесистый косогор гряды Мужевский Урал — это последние невысокие отроги каменного Полярного Урала. Он дрёмно, невозмутимо взирает из-под хвойных век на сутулые покатые холмы, на которых вдоль илистого берега нетесно расстроились Мужи, и на всё низменное обширное междуречье Малой и Большой Оби с его многочисленными озёрами, хитро петляющими протоками, сорами* и сухими ягодными пугорами*.

Далеко-далеко цепляет пристальный взгляд пойменные просторы с плоскими тальниковыми островами. А если даст погода подарок — безветрие да кристально чистый, без ма-

рева, воздух, и если по неожиданному оптическому капризу природы вдруг продавится земля, и выгнется, поднимется восточная сторона горизонта, то увидишь воочию, на удивление рядом, коренной правый берег Большой Оби. И не только крохотный Анжигорт* предстанет, как на ладони, но и крепкое большое село Горки, что в шестидесяти километрах от мужевского берега.

Самому не довелось увидеть, но старожилы хорошо помнят и рассказывают, мол, однажды в конце августа какого-то года горизонт с севера настолько прогибался, что видны

были не только Шурышкары и пойма Соби*, но и даже Салехард можно было ясно разглядеть. А на северо — северо-западе, обманчиво близко, прямо-таки за Ханты-Мужами, выдавился в небо из-за нашего косогора сам Полярный Урал, и забелела в глубокой синеве величественная снежная шапка Пайера*...

Все эти картины настолько красочно и подробно предстают перед внутренним взором, что в какое-то мгновение невольно забываюсь до такой степени, что, вдруг очнувшись от грёз из-за громко треснувшего в «буржуйке» полена, не сразу осознаю, что я — за пять тысяч вёрст от Приполярного Зауралья, простирающегося на границе Югры и Ямала между шестьдесят четвёртой и шестьдесят шестой параллелями северной широты. И что за хлипкими, криво растрескавшимися после недавних частых бомбёжек стенами сырого кубрика — совершенно другие горы и абсолютно чужой для сердца пейзаж. Поэтому возбуждённое памятью сознание само по себе, без натуги старается побыстрее нырнуть из безрадостной действительности обратно в пучину желанных воспоминаний...

Заканчиваются последние дома, и я неторопливо иду вдоль забора южной части мужевского погоста. Могилы отца и крёстной матери Анны отсюда не видать, они в противоположной стороне кладбища. Об этом я успеваю вспомнить

лишь мельком, увлекаемый течением мыслей всё дальше и дальше.

За последними могильными крестами начинается умеренно крутой спуск к Югану — небольшому таёжному притоку Малой Оби, извилисто огибающему Мужи с запада и севера. Спуск к сырой пойме Югана чем ближе к воде, тем больше изуродован глубокими рытвинами с застоявшейся мутно-рыжей водой. Летом верхний слой вечной мерзлоты успевает на полметра оттаять, глинистая почва набухает, раскисает от влаги, и имеющие обыкновение пастись здесь сельские коровы и лошади без труда продавливают копытами тонкий дёрн, погружаясь в топкую неверную твердь чуть не по колено.

Спускаться по таким колдобинам — приятного мало, по неосторожности ничего не стоит и ногу —подвернуть. Но это в действительности, а в мыслях все эти кочки и ямины значения не имеют. В мыслях легко быть невесомым.

Вот я уже перебрёл по каменистому мелководью Юган, ещё раз оглянулся на село и знакомой тропой углубился в тайгу в сторону раскорчёвки.

По времени года мне сейчас представился август. Благодатная в большинстве случаев пора для нашего края, если не надвинутся, не перевалят из-за уральских хребтов затяжные ленивые циклоны со своим пасмурным характером и продол-

жительными, хотя и не слишком холодными ещё дождями. Но всё-таки чаще это удел сентября. А в августе погода по возможности старается баловать последней благодатью мужевский околоток.

Только-только закончились белые ночи полярных широт. В ночь с четвёртого на пятое августа в белёсом сумраке неба, почти в зените, неуверенно, словно с опаской, но, тем не менее, проклюнулась слабым, трепещущим лучиком первая звезда. Это Вега из созвездия Лиры. Пройдёт дней десять, и в меркнущем небе появятся новые мерцающие вехи-ориентиры: Арктур*, Капелла, Альдебаран, Денеб*, Алголь*. Полярная звезда обозначится на небосводе чуть позже. Она хоть и считается по праву основополагающей звездой в северном полушарии, но всё-таки много слабее своих более ярких космических подруг и не в силах сразу победить слабеющую летнюю власть земного светила в высоких широтах.

Чем ещё замечателен август в Приполярье? Многим. Уже нет изнуряющих полчищ гнуса, ощутимо меньше надоедливых комаров. Солнце, хоть и стало день ото дня всё больше скатываться к южной стороне горизонта, но ещё ласкает землю последним теплом, ещё довольно быстро и уверенно разгоняет воровато стелющиеся по утрам вдоль берегов Оби и проток рваные клубы тумана. В тайге наливаются соком осенние ягоды, вздыбливают бугром и властно разламывают

мох тугие шляпки молодых грибов, дозревают под смолистой чешуёй шишек вкусные кедровые орехи.

Все эти наблюдения из прошлого исподволь всплывают в памяти, пока я неспешно поднимаюсь по склону на вершину первого холма к раскорчёвке. Сейчас она уже не может в полной мере оправдать своё название. В былое время облысевшая после вырубки леса ровная вершина невысокого увала теперь во многих местах заново оделась берёзовым и осиновым молодняком, а кое-где уже свежо зеленеют маленькие островки кедрача в половину человеческого роста.

Мысли послушны обретённым в минувшие года впечатлениям и обычаям, поэтому даже в плену воспоминаний я по сложившейся традиции, хотя и не устал, делаю здесь первый короткий привал.

Стройный осинничек звонко, шумно аплодирует моему появлению. Его чуткие к дыханию ветра листья-ладошки уже блёкло-зелены. Совсем скоро остывающая земля замедлит ток живительного сока от корней к листве, и кроны до неузнаваемости преобразятся, яро заогневеют на фоне неизменной малахитовой густоты кедрача и ельника.

До чего же хорошо присесть где-нибудь возле ветвистого куста карликовой берёзы, а ещё лучше расслабленно повалиться спиной на пёстрый моховой ковёр и, запрокинув голову, через полусмеженные от солнечного света веки скользить

умиротворённым взглядом по низким неторопливым облакам, попутно воображая в причудливых очертаниях небывалых существ, и навсегда провожать их за близкий, отороченный неровными зубцами тайги окоём.

Почему-то именно здесь я чаще всего с неизлой досадой вспоминаю Сергея Есенина. Каждый раз переполняет сожаление, что этот замечательный, горячо любимый мною поэт родился не на мужевской земле. Для меня он навсегда останется непревзойдённым певцом родного края. Всё мечталось, вот если бы ему довелось быть моим земляком! Как искренне, точно и сочно был бы воспет морошковый край! Невольно охватывает смущение за свои куда более скромные литературные способности. Он-то не видел никогда всех здешних красот, а я не только родился, но и вырос на этой богатой, разноликой земле, кому как не мне поделиться с людьми гордостью за свою суровую родину и переполняющей сердце любовью к ней. А всё боюсь, что не сумею, не найду верных слов.

Как всё-таки здорово, непритворно и легко, без малейшей вымученности, ещё в начале прошлого века Есенин восторженно выдохнул о своей рязанщине: «Гой ты, Русь моя родная...». Возможно, в тот день, когда появились эти проникновенные строки, поэт был далеко от Константиново, но так же, как я сейчас, ожившей памятью сердца, всей своей сутью находился там, где-нибудь в просторах

приокских лугов, прислонившись плечом к любимой берёзе-шептунье.

Первый раз я услышал и запомнил на всю жизнь эти есенинские строки от мамы.

Шёл 1982 год. Вторая половина марта. Месяц солнечной зимы. У народа ханты он именуется образом-приметой: «Месяц появления наста». У нас в низовьях Оби, на «опушке» Северного полярного круга, пора весеннего равноденствия обычно мало отличается от календарной зимы. Ещё продолжаются уверенные морозы, случаются снегопады, а то и, глядишь, запуржит дня на два.

Но всё-таки есть одна неоспоримая примета весны: восход за восходом всё более длинные световые дни. А если выдастся ясный с отчаянной синевой небес день, то ослепительно белые, ещё и не помышляющие таять сугробы беспощадно, до рези, бьют по глазам отражёнными лучами набирающего силы светила.

Вот в такой погожий день, в выходной, мама впервые отважилась взять меня в далёкую пешую прогулку по Тильтимской дороге. Мне было уже девять лет. Год назад подобное путешествие по тайге при всём желании не могло состояться. В январе 1981 года мама родила моего младшего брата Юру, и всё её время уходило на обычные материнские хлопоты.

Теперь брату уже шёл второй год. Мама со спокойным сердцем оставила Юру на попечение тёти Нюры и дяди Андрея Чупровых, моих крёстных, и вскоре мы были на околице села.

До кораля, конечной цели нашего путешествия, от Мужей километров пять или шесть, смотря откуда начинать отсчёт. Всего-то час пути для взрослого человека, но мы с удовольствием растянули дорогу в один конец на два с половиной часа.

Торопиться нам было некуда, да и ни к чему. Мы шли, часто останавливаясь, то разглядывая и угадывая на снегу следы лесной живности, то удивляясь замысловатым снежным нахлобучкам на верхушках молодых елей, то подолгу любуясь живописными видами тайги, открывающимися за каждым новым поворотом неуклонно поднимающейся вверх дороги.

Почти на подходе к коралю мама случайно обернулась назад и мгновенно остановилась. Я семенил сзади и от неожиданности ткнулся головой ей в живот.

— Посмотри-ка! — заворожённо-восхищённым шёпотом проговорила она, кивнув туда, куда был устремлён её пристальный взгляд.

Я оглянулся и тоже оцепенело замер, приоткрыв от изумления рот.

Мы стояли на вершине высокого увала. (Позднее я узнал, что укрытые тайгой отроги Мужевского Урала в самой высокой точке не дотягивают до трёхсотметровой отметки над уровнем моря лишь каких-то одиннадцать метров.) Оснеженное междуречье Малой и Большой Оби вогнутой лепёшкой расползлось от кромки леса до непривычного, неимоверно далёкого горизонта, убежавшего на добрые полсотни вёрст.

В следующее мгновение я увидел Мужи и на секунду испугался: так далеки и крохотны были они! Но почти сразу короткий испуг сменился радостным удивлением при виде махоньких чуть ли не игрушечных домишек: «Надо же, как мы далеко и высоко забрались!»

И вот тогда, среди торжественного безмолвия, когда у меня то и дело от избытка чувств перехватывало дыхание при увиденном впервые ошеломляющем и воистину величественном зрелище, за спиной тихо, но ясно зазвучал голос мамы:

Гой ты, Русь моя родная,
Хаты — в ризах образа...
Не видать конца и края —
Только синь сосёт глаза.

Слова слетали с её губ неторопливо, напевно. Мой взгляд был очарован бескрайними заречными далями, и я слушал маму, не оборачиваясь, но с жадностью впитывая сознанием каждое слово стихотворения, казавшегося мне чудесной волшебной клятвой в любви к родной земле. В том, что это клятва, я уже нисколько не сомневался, когда мама более торжественно, как заклинание, закончила:

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

— Это Сергей Есенин написал, — сказала она с благоговением после некоторого молчания.

Возвращаясь назад, мама ещё не раз повторяла вслух это стихотворение, чтобы я лучше запомнил его, и мы оба с каким-то особенным наслаждением, восторгом неожиданного открытия снова и снова ласкали слух двумя последними строчками первого четверостишия.

Этот эпизод из детства припомнился попутно, и я вновь мысленно перенёсся обратно на раскорчёвку. Короткий привал позади. Напоследок переворачиваюсь со спины на грудь, приникаю подбородком к податливому прохладному бархату

кукушкиного льна* и с наслаждением глубоко вдыхаю его влажный травянисто-пряный запах. На расстоянии вытянутой руки замечаю одинокий игольчато-пушистый стебелёк водяники с тремя налитыми тёмными ягодами, тянусь к нему и осторожно срываю нежные сочные бусины. Раздавив их о нёбо, с удовольствием ощущаю, как растекается по языку хорошо утоляющий жажду, лишь чуть-чуть сладковатый сок.

Только после этого поднимаюсь и уверенно иду дальше.

Вскоре тропа, повиляв по вершине холма, начинает незаметно убегать вниз, в ложбину, и вот почти теряется в сыром, безлесном, густо заросшем лишь карликовой берёзой распадке. По многим приметам чувствуется близость таёжного сойма, именуемого Первым Ручьём, который, замысловато виляя между увалами, впадает в Юган как раз напротив сельского кладбища.

Под ногами начинает звучно с причмокиванием чавкать густая почти чифирного цвета жижа. Это от торфа. По всей видимости, в стародавние времена на месте нынешнего распадка было болотце. Потом оно поднялось, захирело, а вековые слои сфагнума перегнили, переродились в торф. Но, наверное, бьётся ещё где-то в глубине слабая жилка одинокого ключа-живуна, которая и не позволяет пока зреющему торфянику обрести большую прочность. Видать, не время

ещё. Потому-то и приходится идти торопливым шагом, а замешкаешься, то и из сапога запросто выскочишь.

Минут десять спорой ходьбы, и под ногами перестаёт хлюпать. Вновь обозначается твёрдая тропинка и вдруг обрывается. Вернее, здесь её «устье». Проводив меня через первые ближние к Мужам увалы, она «вливается» в «левобережье» Тильтимской дороги метров на сто двадцать выше Первого Ручья...

Ближний разрыв осколочного выстрела гранатомёта безжалостным толчком швырнул меня через тысячи километров, заставил вздрогнуть и невольно открыть глаза.

Чечня. Почти полночь. Я обвёл тревожным взглядом полутёмный кубрик. Укреплённая в пустой консервной банке свеча на две трети оплавилась, пламя на сквозняке судорожно трепетало, металось из стороны в сторону и, чадя, сердито потрескивало. Снаружи, со стороны площади Минутка, послышалась длинная автоматная очередь. И сразу вслед за ней взахлёб застрочили ещё несколько АКМов*.

Это окончательно вернуло меня в суровую действительность войны. Осознание этого, грубо нахлынув, повергло в тоску и отозвалось саднящей болью в груди. Чтобы развеять это, сродни шоковому, состояние, я заставил себя подняться с колченогого стула, открыл дверцу печки и подбросил в топку на рдеющие угли новые поленья. Пошаяв густым дымом, они шумно вспыхнули жадным пламенем.

Его бойкие языкастые всполохи напомнили мне ночные таёжные костры в сезон охоты, когда вот так же жизнелюбиво пляшет пламя по сухим веткам, потрескивая и с тонким свистом вгрызаясь в смолистый замшелый валежник.

Недаром говорят, что созерцание открытого огня чудодейственным образом очищает, просветляет душу. Тяжёлое чувство и вправду постепенно отлегло от сердца, даже наоборот — неуловимо переродилось в тихую радость.

Я неожиданно понял, что наперекор всему доволен сегодняшним вечером и по-своему счастлив. Мне удалось на целых два часа обмануть войну. Пускай не наяву, а памятью сердца, силой воображения, но я устроил себе настоящий праздник: короткую побывку в родном крае. И ничто другое не способно тягаться с этой наградой.

Понимание этого подействовало на меня, как стакан спирта. Тело приятно расслабилось, и я почувствовал, что хочу спать. Раздевшись, я забрался по простой, но крепко сколоченной лесенке на свои верхние нары. Ни холодная жёсткая постель, ни безнадёжно отсыревшая от промозглого климата Чечни подушка, ни продолжающаяся перестрелка не могли сейчас нарушить моё умиротворённое состояние.

Я коротко помолился и быстро задремал с единственным желанием, чтобы мне приснилась РОДИНА.

2001

ПРИМЕЧАНИЯ

СТИХИ

С. 38. Нарта — национальные сани у северных народов России, в которые запрягают оленей.

Хорей — длинный шест, изготавливаемый из ели, сосны или стройной берёзы, для управления, погони упряжки оленей.

С. 39. Мужи — название населённого пункта, районного центра Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. Родина автора этой книги. В переводе с языка ханты: Мужи — «живун, живая вода». Своё название село получило из-за обилия в округе неиссякаемых подземных родников, снабжающих водоёмы во время продолжительной зимы кислородом и тем самым предотвращающих массовый замор рыбы.

С. 43. Юган — название небольшой таёжной речки, притока Малой Оби, возле села Мужи, берущей начало на склонах гряды Мужевский Урал. В переводе с языка ханты: Юган — «река».

С. 44. «Любил я думать у креста...» — имеется в виду старинное таёжное урочище «Кресты» в семи километрах от села Мужи на вершине высокого увала возле Тильтимской дороги (см. примечание к С. 65). По одному из преданий

это священное место примечательно тем, что именно оттуда людям, преодолевшим «Каменный пояс» — Уральские горы, или оленеводам во время каслания оленей впервые открывался вид на село Мужи и пойму реки Оби.

Позднее, изначально языческое урочище, с заселением нынешней территории Шурышкарского района коми-зырянами охристианизировалось. В этом месте стали ставить деревянный крест (отсюда и существующее название урочища), который по мере обветшания меняли. В настоящее время на урочище стоит крест, установленный 10 сентября 2014 года Павлом Черкашиным и его другом Владимиром Пермяковым.

С. 45. Тальник — заросли тала. Тал — разновидность ивы, широко распространённая на севере России.

С. 52. Борей — северо-восточный ветер.

С. 58. Варнак — разбойник. Здесь употреблено в качестве шутки.

С. 70. Пернай — в переводе с языка коми: «крёстный».

С. 72. Лисохвост — сорное злаковое растение высотой до полутора метров. Своё название получило благодаря соцветию, которое по форме очень напоминает хвост лисицы.

С. 74. Кокпела — река бассейна Оби, приток реки Войкар, берущая начало на склонах одноимённой горы (в дословном переводе с языка ханты: «одноногая гора») Приполярного Урала.

Тильтимская (дорога) — таёжная грунтовая дорога в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области, связывающая село Мужи — административный центр Шурышкарского района — с небольшим хантыйским селением Тильтим.

С. 75. Водяника — северное название ягоды шикши. Представляет собой ягодный низкорослый кустарник с мягко-игольчатыми стеблями и сочными пресноватыми ягодами тёмного цвета от двух до десяти на одной веточке. Хорошо утоляет жажду.

С. 79. Малица — меховая зимняя одежда некоторых народов севера России из неблюя — шкуры ноябрьского оленя.

Бурудан — каменистый порожистый перекат на Югане вблизи Мужей, образующий рядом обширную живописную заводь. Этимология названия до конца не ясна. Возможный перевод с языка ханты звучит как «сверлящий» или «просверленный».

Ягушка — зимняя женская одежда из двойного меха, богато орнаментированная национальными узорами. Для наружного меха ягушки используют июльский неблюй, а для внутреннего меха, более мягкого, — осенний неблюй либо зайца.

С. 80. Парка — зимняя мужская одежда у некоторых народов севера России. Одевается поверх малицы кожей внутрь мехом наружу. Для шитья парки используются шкуры зимнего оленя.

С. 83. Тумран — губной музыкальный инструмент, сделанный из кости голени или ребра молодого оленя, а струна из жил оленя.

С. 88. Живун — родник, неиссякаемый подземный ключ.

С. 87. Ямгорт — небольшая хантыйская деревня в Шурышкарском районе в низовьях реки Сыни, притока Малой Оби. В переводе с языка ханты: «хорошая деревня».

Евыргорт — небольшая хантыйская деревня в Шурышкарском районе в верховьях реки Сыни, притока Малой Оби. Существует два варианта перевода названия этого селения с языка ханты: 1. «деревня, стоящая на прилесье». 2. «затерявшаяся деревня».

Лагорта — река бассейна Оби, приток реки Войкар, берущая начало на восточных склонах Приполярного Урала.

Нюрм — в переводе с языка ханты: «болотистое безлесное место».

Сойм — в переводе с языка ханты: «ручей», «небольшая протока».

С. 89. Халей — на языке ханты звучит «халэв» — птица, вид чайки. У народа ханты халей — отрицательный образ, олицетворяет вора, рвача, нахлебника, подлеца.

Камлать — разговаривать, общаться с языческими духами.

С. 91. Кузьёль — маленькая таёжная речка бассейна Оби, приток реки Сыни, примерно в 25 километрах к западу от села

Мужи. В переводе с коми-зырянского языка: «ручей Кузьмы».

Кораль — специальная изгородь, загон для оленей, чтобы поймать их для запрягания, перегона на новое пастбище, пересчёта поголовья, забоя. Нередко на территории кораля ставится небольшая избушка для оленеводов, а также вспомогательные постройки.

ПРОЗА

С. 125. Сфагнум — название распространённого вида мха.

С. 132. Острохвост — северное название одного из видов дикой утки. Правильное название — шилохвость.

С. 186. Капелла — самая яркая звезда в созвездии Возничьего.

С. 186. Альдебаран — самая яркая звезда в созвездии Тель-ца.

Сириус — самая яркая звезда небосвода среди наиболее близких к Земле в созвездии Большого Пса.

С. 197. Шурышкары — большое село на берегу одноимённого сора (см. примечание к С. 202) в шестидесяти пяти километрах к северу от Мужей.

С. 199. Киеват — маленькая деревня на берегу Малой Оби в двадцати километрах к югу от Мужей. В переводе с языка ханты: Киеват — «каменный мыс».

С. 210. Восяхово — село на берегу Горной Оби недалеко

от впадения в неё реки Войкар в двадцати пяти километрах к северу от Мужей. Название села в переводе с языка ханты звучит как «люди, живущие возле удачного, счастливого, богатого рыбой устья».

С. 229. Харьеган — маленькая таёжная речка бассейна Оби, приток реки Сыни, примерно в восемнадцати километрах к западу от Мужей. В переводе с языка ханты: «хариусовая речка».

С. 230. Лежнёвка — дорога из ровных обтёсанных брёвен, сколоченных между собой или скреплённых толстой проволокой. Имеет широкое распространение в населённых пунктах севера России, где из-за вечной мерзлоты строить основательные дороги трудоёмко и невыгодно.

Сор — большое, за некоторым исключением чаще всего неглубокое озеро или заливной луг в пойме реки. Полноводное во время весеннего паводка, оно к осени сильно мелеет. Многочисленные сора в междуречье Малой и Большой Оби — излюбленные места гнездования водоплавающих птиц и нагула рыбы.

Пугор — большой высокий лесистый остров, омываемый со всех сторон водой.

С. 231. Анжигорт — небольшое хантыйское селение на берегу одной из проток в междуречье Малой и Большой Оби в пятнадцати километрах к востоку от Мужей.

В переводе с языка ханты: Анжигорт — «шиповниковая деревня».

Собь — река в Ямало-Ненецком автономном округе, левый приток Оби. По ней проходит часть границы между Шурышкарским и Приуральским административными районами.

Пайер — горная вершина Полярного Урала на севере Шурышкарского района. В переводе с языка ханты: «гряда, скопище гор».

С. 234. Денеб — самая яркая звезда в созвездии Лебедя.

Алголь — самая яркая звезда в созвездии Персея.

С. 242. Кукушкин лён — название распространённого вида мха.

С. 243. АКМ — автомат Калашникова модернизированный.

Оглавление

Об авторе 4
Н. Горбачёва «Тебя люблю, тебе молюсь...» 11
Стихи **21**
Облака 23
Утро 25
«Осень бьётся в окно желтогрудым листом...» 26
«Милые, милые дали...» 27
«Ах, не вспугните утреннюю тишь...» 28
«Завывает вьюга в трубах...» 29
«Волнующий осколок лета...» 30
«За туманами седыми...» 31
«Лопаются почки...» 32
«А в октябре листы уже опали...» 33
Радость 34
Январь 35
Январская ночь 36
«Шумят столетние леса...» 37
Песня над тундрой 38
«Картины детства вновь перед глазами...» 39
Родина 41
«Мужи. Ветхие домишки...» 42
«Застыла нежная тоска...» 44
«На родине на милой повыпали снега...» 45
Ритурнель 46
«Кресты оконных рам...» 47
«Последняя просинь дрожит в небесах...» 48

«Пепельно-розов осенний закат...» 49
«Чайного цвета осенние лужи...» 50
«Отплясала цыганкою осень...» 51
«Зашаманили странники ветры...» 52
«Люблю я пасмурные дни...» 53
«Зима. Хрустящие шаги...» 54
«Малахитово-багряный...» 55
«Минуя густые пролески...» 56
«Вечер. Выйду на крыльцо...» 57
Из детства 58
«На опушке костерок...» 59
«Вот и осень-златовласка...» 60
«Обессилела листва...» 61
«Месяц — бледная улыбка...» 62
«Лай собак всё реже, умолкает...» 63
«Видишь, ветер по дороге...» 65
«Вешним цветом утро пьяно...» 66
«После ливня в деревеньке...» 67
«Неизбежно лето постарело...» 68
«Закат рассыпал бисер алый...» 69
«Веет мхами и морошкой...» 70
«Вмёрзли палые листья янтарно...» 71
«Вот он — мужевский погост...» 72
«Суставы ноют... видно, непогода...» 73
«Кружит осень прощальные вальсы...» 74
«Нахлынул вечер тёплою волною...» 75
«Опять не сплю я. Ностальгия...» 76
«Мороз неделю лютовал...» 77
«Нет, не красотам приэльбрусья...» 78

«Лес, ожидая весну, занедужил...» 79
«Январь. Мой край метелями распят...» 80
«Опять душа истосковалась...» 81
«Край родной, ты — мой ангел-хранитель...» 83
«Я присел у старейшины кедров...» 84
Заря-чудодея 85
«Я камешек малый привёз с бурудана...» 86
«От ямгорта к евыргорту...» 87
«Две ели росли возле нашего дома...» 88
«Я родился — кричали халеи...» 89
«Как по весне стремится птица...» 90
«Люблю погожим сентябрём...» 91
«В мужах нечасто так бывает...» 92
Проза 93
Старики (этюд) 95
Громовская избушка 105
Забавный случай 117
Ведьмино болото 122
Заброшенное зимовье 132
Поединок 148
Жили-были старик со старухой 160
Анастасия 171
Мальчик и звёзды (лирический этюд) 183
Здравствуй, солнце! 189
Дорога под звёздами 200
В гостях у найды 212
Память сердца (автобиографическое эссе) 225
Примечания 246
Оглавление 253

1р 00к

Литературно-художественное издание

Павел Рудольфович
ЧЕРКАШИН

РОДИНА МОЕГО ДЕТСТВА

Книга сыну

Предисловие Н. Н. Горбачёва
Художник А. Е. Шестакова
Оператор набора П. Р. Черкашин
Оператор вёрстки И. С. Семёнов
Корректор С. Н. Черкашина

Сдано в набор 30.04.2014. Подписано в печать 02.06.2014.
Формат 70x108 1/32. Бумага ВХИ 80г.
Гарнитура «Академия».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,00.
Тираж 500 экз. Заказ № 952.

Издательство Юграфика
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, 43-1.
Тел.: +7 909 034 7546
E-mail: yugrafika@mail.ru

Отпечатано в типографии:
о-полиграфический комплекс Лазурь»
ловская обл., г. Реж, ул. П.Морозова, 61.
н: +7 (34364) 2-48-15,2-10-72

079273001
Мегион ЦБ-КО

1р 00к